This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 469911

891.78
B91ni

ИЗЪ КНИГЪ МОИМИРА
ЦТИБОРОВИНА ГЕЛЬДЕЛЕТЪ

ОФИЦЕРСКАЯ
библіотека
6-го
СТРѢЛКОВАГО
ПОЛКА.
Отд. 6/14-ш
Кн. № 1018.

Даръ библіотеки.

105а - 212541

Библіотека
6-го
Стрѣлковаго
полка.
Отд.
Кн. №

ПѢВУЧАЯ ГИТАРА.

(Разсказъ).

Сегодня обычно въ шесть часовъ вечера Евлампія Егоровна, квартирная хозяйка, внесла въ мою комнату самоваръ, вздохнула, погремѣла чайной ложкой о край стакана, словно желая тѣмъ оторвать меня отъ книги, и съ чуть замѣтной усмѣшкой въ голосѣ проговорила:

— Загулялъ нашъ Иванъ Тимофѣичъ!..

— Что такъ?

— Радость у него большая—чинъ первый дали..

При этой фразѣ лицо Евлампіи Егоровны преобразилось: усмѣшка сбѣжала съ ея тонкихъ блѣдныхъ губъ, а въ глазахъ отразилось серьезно-дѣловое выраженіе. Немного отступивъ къ двери, она почему-то пристально посмотрѣла на меня и добавила:

— Семнадцать лѣтъ служилъ — вотъ и дослужился... Оно всегда такъ бываетъ, если вѣрой да правдой служить... Вонъ, то же, мой-то покойный Савелій Игнатьичъ... Продли Богъ вѣку—до асессора дослужился бы... Крестикъ-то, вонъ, на аленькой ленточкѣ, по сей часъ у меня въ сундукѣ: за безпорочную десятилѣтнюю службу дали...

Она вздохнула, потрогала рукою печь, открыла отдушину и добавила:

— Послѣ обѣда на минутку заглянулъ и опять... На Выборгскую сторону для чего-то поѣхалъ... Ну, что же — дай ему Господь Богъ всего лучшаго... Человѣкъ бился-бился... Тоже не сладка она, служба-то... Вонъ и мой-то, покойникъ Савелій Игнатьичъ... тоже... Господи!..

Она что-то еще говорила, притворивъ за собою дверь, но смысла ея рѣчи я не уловилъ.

Иванъ Тимофѣичъ такъ же, какъ и я, жилецъ Евлампіи Егоровны. Его комната напротивъ моей черезъ корридоръ. Узкая и короткая, съ печью въ углу у двери, съ закоптѣвшей штукатуркой потолка и съ темно-сѣрыми обоями, она выглядѣла не уютной и темной, потому что единственное окно ея выходило къ стѣнѣ сосѣдняго дома. Кровать, комодъ, столъ и два стула — ея меблировка; надъ комодомъ овальное зеркало въ багетовой рамѣ, а въ углу у окна этажерка, на которую Иванъ Тимофѣичъ прибираетъ жестянки съ чаемъ и сахаромъ, на верхнюю полку складываетъ номера уличной газеты, которую ежедневно приноситъ со службы. У Ивана Тимофѣича есть еще семиструнная гитара, съ потемнѣвшей верхней декой, деревянными колками и съ перламутровыми глазками на грифѣ.

Съ Иваномъ Тимофѣичемъ я познакомился мѣсяца черезъ два послѣ того, какъ переселился къ Евлампіи Егоровнѣ. Это было на Рождествѣ. Въ обычаѣ старушки чиновницы было — приглашать въ первый день праздниковъ всѣхъ своихъ жильцовъ къ обѣду. Обычай этотъ установился еще со счастливыхъ лѣтъ жизни Евлампіи Егоровны, когда живъ былъ Савелій Игнатьичъ, и старушка страшно сердилась, если кто-нибудь изъ жильцовъ не отзывался на ея зовъ.

Помнится, когда я переступилъ порогъ един-

ственной комнаты, гдѣ жила хозяйка, изъ-за обѣденнаго стола поднялся высокій и худощавый человѣкъ, съ которымъ я и раньше встрѣчался, но не былъ знакомъ. Заботливо оправилъ онъ полы своего темнаго сюртука, щипнулъ пальцами жидкую бородку, кашлянулъ и протянулъ мнѣ костлявую холодную руку. Онъ тихо произнесъ свою фамилію, улыбнулся и предложилъ мнѣ стулъ. Въ это время въ комнатѣ появилась Евлампія Егоровна, въ передникѣ, въ темной косынкѣ на головѣ и съ сокрушеніемъ въ лицѣ.

— Терентьевъ-то вотъ нейдетъ, говоритъ, что его приглашали куда-то на обѣдъ... раньше...

Терентьевъ, студентъ-горнякъ, былъ третьимъ жильцомъ Евлампіи Егоровны, занимая комнату направо отъ входа, рядомъ съ комнатой Ивана Тимофѣича.

Евлампія Егоровна сдвинула на край стола третій приборъ, очевидно, предназначавшійся для измѣнщика Терентьева и, вздохнувъ, добавила:

— Ну, что жъ, Господь съ нимъ... Пожалуйте, господа, пожалуйте – я пирожка вамъ отрѣжу...

Хозяйка усадила насъ за столъ и вышла.

Я посмотрѣлъ на своего новаго знакомаго. Перебирая пальцами бахрому бѣлоснѣжной скатерти, которой былъ накрытъ столъ, онъ задумчиво разсматривалъ узоръ на своей тарелкѣ и молчалъ.

— Вотъ такъ въ Петербургѣ-то живешь, живешь въ одной квартирѣ, а знакомства - то и нѣтъ,—началъ онъ, съ трудомъ выдавливая слова. Голосъ его былъ густой, но глухой и робкій, точно онъ не говорилъ, а осторожно пробовалъ какую-то громогласную музыкальную мѣдную трубу, сдерживая напоръ воздуха и надуваясь.

Я согласился съ собесѣдникомъ, что, дѣйстви-

тельно, въ Петербургѣ наблюдается эта особенность общежитія, и онъ поднялъ на меня глаза.

— Вотъ и у насъ въ управленіи тоже, сидишь съ чиновниками за однимъ столомъ, въ одну чернильницу мокаешь, ну, разумѣется, какъ зовутъ знаешь, а чтобы знакомство водить, такъ нѣтъ, не знаешь даже, гдѣ они и живутъ-то... Только вотъ и знаю, гдѣ столоначальникъ нашъ живетъ, Игнатій Николаичъ Савинъ: съ бумагами я какъ-то къ нему ходилъ... Ну, да вѣдь у насъ съ нимъ знакомство короткое: пришелъ, поклонился, сѣлъ, взялъ какую-нибудь бумажку, поребѣлилъ ее да и на подпись...

Евлампія Егоровна внесла на двухъ тарелкахъ по куску пирога съ вязигой.

— Кушайте, господа, пожалуйста... Вотъ тутъ и водочка поставлена и портвейнъ, — разводя руками, говорила она.

— И самимъ бы вамъ, Евлампія Егоровна, выкушать, — говорилъ Иванъ Тимофѣичъ, разливая водку.

Мы всѣ чокнулись, поздравляя другъ друга съ праздникомъ, и приступили къ пирогу. Хозяйка, однако, отказалась раздѣлить съ нами трапезу и скоро ушла въ кухню, гдѣ на плитѣ что-то шипѣло.

Иванъ Тимофѣичъ разрѣзалъ пирогъ на маленькіе кусочки и ѣлъ медленно, разсматривая каждую частицу, прежде чѣмъ отправить ее въ ротъ. Покончивъ съ пирогомъ, онъ потянулся было за графиномъ, но послѣ моего отказа отъ водки розлилъ по рюмкамъ портвейнъ.

Хозяйка принесла жаренаго гуся такъ же, какъ и пирогъ, порціями на двухъ тарелкахъ для меня и для Ивана Тимофѣича. Мы выпили портвейнъ. Евлампія Егоровна еще разъ попросила насъ ку-

шать, добавивъ, что если мы съ этимъ покончимъ и гусь понравится — то и еще можемъ попросить. Сообщила она еще и о томъ, почему дешево удалось купить гуся въ Андреевскомъ рынкѣ, и мы снова остались вдвоемъ.

— Вотъ ваша служба совсѣмъ другая,—началъ Иванъ Тимофѣевичъ: – вы все больше дома пишете... Да только, видно, и у васъ не легкая работа! Иной разъ проснешься въ серединѣ ночи, посмотришь на стекло надъ дверью, а у васъ все огонь да огонь... два или три часа ночи, а у васъ все свѣтъ...

Онъ съ лаской посмотрѣлъ мнѣ въ глаза и вздохнулъ. Я объяснилъ собесѣднику, каковъ родъ моей работы и почему я предпочитаю работать ночью. Онъ кивнулъ головой, пристально посмотрѣлъ мнѣ въ лицо и тихо добавилъ:

— Работа эта хорошая, что говорить...

Мы заговорили о газетахъ. Иванъ Тимофѣичъ сообщилъ мнѣ содержаніе романа, который онъ теперь читаетъ въ фельетонахъ уличной газетки, расхвалилъ автора, высказалъ предположеніе, чѣмъ, по его мнѣнію, долженъ кончиться романъ и, повысивъ голосъ, спросилъ:

— А отчего они фамилію свою не выставляютъ? Вотъ и этотъ подъ романомъ-то подписывается А. Тр—въ, а кто онъ такой? что его за фамилія: Трубниковъ-ли, Треплевъ ли, или еще какая?.. Я думаю, такъ какіе-нибудь люди въ большихъ чинахъ подписываются?..

Какъ могъ, я объяснилъ ему мотивы, почему иногда писатели скрываются подъ псевдонимами, и онъ, видимо, не такъ понявъ мое объясненіе, воскликнулъ:

— А-а!.. значитъ, бываетъ и такъ, что писателю и стыдно полностью-то подписаться подъ своимъ произведеніемъ! Лучше бы тогда ужъ и не

ИЗЪ КНИГЪ МОИМИРА
ЦТИБОРОВИНА ГЕЛЬЦЕЛЕТЪ

ОФИЦЕРСКАЯ
библіотека
6-го
СТРѢЛКОВАГО
ПОЛКА.
Отд. 6
Кн. № 1018.

Даръ библіотекѣ.

— А вы на гитарѣ не играете?—спросилъ меня Иванъ Тимофѣичъ.

— Нѣтъ.

— А вотъ я купилъ гитару и самоучитель... Только никакъ не могу выучиться по нотамъ, а такъ двѣ-три пѣсенки кое-какъ играю... А вонъ, говорятъ, Игнатій Николаичъ Савинъ хорошо играетъ... Страсть, говорятъ, какъ хорошо играетъ! не удалось только мнѣ его слышать-то...

— Вы уроки бы взяли, —посовѣтовалъ я.

— Ну, гдѣ тамъ еще уроки! Такъ ужъ, вѣрно, пальцы не такъ устроены...

Онъ посмотрѣлъ на свои худые костлявые пальцы, сжалъ ихъ въ кулакъ, поднося ближе къ глазамъ, потомъ снова выпрямилъ ихъ и посмотрѣлъ на ладонь. Послѣ этого онъ принялся грызть ноготь...

— Когда-нибудь надо взять урокъ... Можетъ быть, тутъ самую малость и выучиться-то надо: ладонь научиться прикладывать къ грифу, какъ слѣдуетъ, или пальцами научиться прижимать струны...

Онъ смолкъ и задумался.

Иногда я, дѣйствительно, слышалъ игру Ивана Тимофѣича на гитарѣ, особенно по вечерамъ, когда все въ нашей квартирѣ замретъ и долгіе часы затишья кажутся унылыми и навѣвающими тоску. Иванъ Тимофѣичъ играетъ всегда что-то нудное и скучное...

Мы встали, поблагодарили появившуюся хозяйку за обѣдъ и вышли въ корридоръ.

— Можетъ быть, вы хотите посмотрѣть мою гитару,—началъ Иванъ Тимофѣичъ, когда мы дошли до такой точки корридора, откуда надо было разойтись по своимъ комнатамъ: ему направо, мнѣ налѣво.

Мнѣ показалось, что не гитара—настоящая причина, почему онъ предложилъ мнѣ зайти къ нему. Изъ встрѣчи за обѣдомъ я понялъ, какъ онъ радъ познакомиться съ ближайшимъ сосѣдомъ; я подозрѣвалъ даже, что и разговоръ о петербуржцахъ, не охотникахъ на знакомство, завелъ онъ, поддавшись потребности высказать нѣчто наболѣвшее въ его одинокой душѣ.

Я высказалъ желаніе посмотрѣть гитару, и мы вошли въ его темную комнату. Усѣвшись на кровать съ гитарой, онъ долго что-то вертѣлъ колки, ударяя то въ одну, то въ другую изъ струнъ, потомъ опять принимался за колки и, настроивъ инструментъ, вручилъ его мнѣ, говоря:

— Посмотрите, какая она хорошая... Доска нижняя немного со щелкой, но, говорятъ, отъ этого гитара дѣлается лучше: пѣвучей она, говорятъ, дѣлается...

Я взялъ гитару, повертѣлъ ее въ рукахъ, посмотрѣлъ на трещину, благодаря которой гитара стала пѣвучей, и провелъ пальцемъ по струнамъ, пробудивъ въ инструментѣ нестройные звуки. Иванъ Тимофѣичъ улыбнулся.

— Вы, вѣрно, и въ правду не играете, и гитарѣ-то у васъ въ рукахъ не лежится,—замѣтилъ онъ, говоря о своемъ любимомъ инструментѣ, какъ о живомъ существѣ.

Онъ взялъ у меня гитару, положилъ ее такъ, какъ слѣдуетъ класть во время игры, и взялъ на струнахъ нѣсколько аккордовъ. Въ комнатѣ дрогнули звуки, стройные, но робкіе и печальные. Я посмотрѣлъ ему въ лицо. Оно было серьезно и, какъ мнѣ показалось, немного поблѣднѣло, черты его какъ будто разомъ обострились и стали строже, а глаза засвѣтились, точно съ нихъ сняли какую-то матовую оболочку. Онъ еще взялъ нѣсколько ак-

кордовъ, такихъ же грустныхъ и робкихъ, и уставился глазами куда-то въ уголъ...

Аккорды смолкли. Иванъ Тимофѣичъ какъ-то стремительно закурилъ папиросу и снова, попыхивая дымомъ, склонился надъ инструментомъ. Хозяйка внесла намъ по стакану кофе съ бисквитами и безмолвно удалилась, словно боясь нарушить молчаніе.

Иванъ Тимофѣичъ наигрывалъ ту самую нудную пѣсню, которую я уже не разъ слышалъ, сидя у себя.

— Что это за пѣсня? — спросилъ я его, когда онъ пересталъ играть.

— А я и самъ не знаю... Петръ Евграфычъ ее игралъ... У насъ чиновникъ такой былъ, онъ еще родственникомъ мнѣ дальнимъ приходился... Вотъ онъ и игралъ, и гитару-то эту я у его жены купилъ... Мѣсяцевъ пять тому назадъ умеръ онъ...

Музыкантъ сильно затянулся папиросой и снова заигралъ что-то новое, повеселѣе...

— А это что?—спросилъ я.

— Эхъ вы, не знаете!.. Это романсъ: «Лови, лови часы любви»...

Онъ положилъ гитару на кровать и замѣтилъ съ сокрушеніемъ въ голосѣ:

— Плохо у меня выходитъ... Надо что-нибудь съ пальцами сдѣлать...

Мы принялись за кофе. Не докончивъ стакана и до половины, онъ вдругъ снялся съ мѣста и, схвативъ гитару, усѣлся на стулъ, ближе ко мнѣ.

— А вотъ эта пѣсня у меня выходитъ...—Аккомпанируя на гитарѣ, онъ не громко запѣлъ:

Сердце ли рвется, ноетъ ли грудь—
Пей пока пьется, все позабудь.

Онъ долго пѣлъ, потомъ отложилъ гитару, про-

шелся по комнатѣ, ероша волосы и, остановившись около меня, проговорилъ:

— А знаете ли что... не выпить ли намъ пива... А?.. Я приготовилъ для праздниковъ...

Не дождавшись моего отвѣта, онъ повалился на кровать, запустилъ за нее руку и одну за другою извлекъ четыре бутылки. Потомъ онъ сходилъ къ хозяйкѣ за стаканами, досталъ изъ стола штопоръ съ насаженной на него пробкой, какъ-то спѣшно снялъ эту пробку и спряталъ въ карманъ брюкъ, точно сконфузясь чего-то.

Мы пили пиво. Мною вдругъ овладѣло какое-то странное желаніе: дѣлать по возможности все, что ни предложитъ Иванъ Тимофѣичъ. Я видѣлъ, съ какой охотой занималъ онъ меня своей неискусной игрой, я видѣлъ, съ какимъ стараніемъ онъ угощалъ меня пивомъ, словно озабоченный каждую минуту поисками — чѣмъ бы еще занять меня, лишь бы только я не скучалъ и продлилъ свой визитъ. Подливая въ стаканы пиво, Иванъ Тимофѣичъ говорилъ:

— Покойничекъ Петръ Евграфычъ любилъ выпить... Бывало, кто-нибудь скажетъ ему: «Петръ Евграфычъ, пить-то вы пейте, да только мѣру знайте»... А онъ: Что-жъ, согласенъ, только бы мѣра-то побольше была»... Чудакъ былъ!.. славный человѣкъ... Вонъ, и гитара его лежитъ...

Иванъ Тимофѣичъ покосился на гитару, лежавшую на кровати, и мотнулъ головой, и мнѣ опять показалось, что онъ мотнулъ головою въ сторону живого существа, что вмѣстѣ съ этой гитарой въ его комнатѣ поселилась и тѣнь покойнаго Петра Евграфыча, и когда новый обладатель инструмента коснется струнъ и заиграетъ ту нудную пѣсенку, которую любилъ Петръ Евграфычъ,—тѣнь покой-

наго встанетъ за спиною музыканта и прислушивается...

— А отчего умеръ Петръ Евграфычъ? — спросилъ я.

— Въ чахоткѣ умеръ... Пилъ сильно и умеръ... Жена осталась, шесть человѣкъ дѣтей, и все такая мелочь... Бывало, и я говорю ему: брось, Петръ, брось!..—«Не могу, говоритъ: вино, веселье и любовь... Веселья у меня нѣтъ, любви тоже при нашей бѣдности не полагается, хоть и жена, и дѣти живы, и остается только—пить»... Такъ, бывало, скажетъ и запьетъ...

Иванъ Тимофѣичъ отпилъ полстакана пива и добавилъ:

— Вотъ мнѣ такъ хорошо! нѣтъ никого и ничего... Умру—такъ вонъ гитара останется... Евлампія Егоровна продастъ ее татарину и Богу свѣчку поставитъ... И будетъ та свѣчка горѣть и... догоритъ...

Голосъ его дрогнулъ, онъ всталъ и прошелся по комнатѣ до окна, отъ окна до двери и обратно. Пощипывая бородку, онъ усѣлся на подоконникъ, и на блѣдномъ четыреугольникѣ окна образовался силуэтъ его длинной и тощей фигуры.

Наступали сумерки, и въ комнатѣ становилось темно. Иванъ Тимофѣичъ поднялся съ подоконника и не громко сказалъ:

— Скучно въ темнотѣ... надо лампу зажечь...

Когда была зажжена лампа, я осмотрѣлся. На столѣ, залитомъ пивомъ, стояли четыре пустыя бутылки и стаканы съ недопитымъ пивомъ. При свѣтѣ лампы комната Ивана Тимофѣича показалась мнѣ еще болѣе не уютной: отъ темныхъ стѣнъ вѣяло чѣмъ-то угрюмымъ, убогая обстановка навѣвала тоску, по комнатѣ носились густые клубы табачнаго дыма, и самъ хозяинъ, немного

захмѣлѣвшій, съ блѣднымъ лицомъ и съ печалью въ усталыхъ глазахъ, казался какимъ-то заброшеннымъ и жалкимъ.

Я всталъ, поблагодарилъ хозяина за угощеніе и сталъ прощаться.

— Сидите, что вы!.. право!.. Выпили бы еще пива. Сегодня праздникъ, завтра праздникъ и послѣ завтра,—просилъ онъ, потомъ пожалъ мою руку и, когда я вышелъ, распрощавшись, онъ плотно притворилъ въ свою комнату дверь и заперъ ее на крючекъ.

Ночью я вернулся поздно. Какъ всегда, хозяйка отворила мнѣ дверь, и когда я былъ уже около своей комнаты, она удержала меня за рукавъ, указала рукою на дверь въ комнату Ивана Тимофѣича и шепотомъ сообщила:

— Выпилъ и спитъ... Весь вечеръ сегодня пѣлъ и игралъ, про васъ все спрашивалъ...

Евлампія Егоровна еще больше понизила тонъ и добавила:

— Онъ вѣдь выпиваетъ! Да только не какъ всѣ люди... Купитъ себѣ водки, запрется на крючекъ, напьется да и ляжетъ въ постель, а потомъ ночью проснется и опять выпьетъ, и опять спитъ...:

— Что вы!—удивился я.

— Да-а, всегда такъ... третій годъ у меня живетъ—доподлинно знаю... Самъ сходитъ за водкой, купитъ бутылку и запретъ въ сундукъ, и рюмки-то у него не увидишь, будто трезвъ человѣкъ... Мнѣ-то что... конечно, его дѣло!... Тихій вѣдь онъ — пить-пьетъ, а чтобы я когда-нибудь худое слово услышала — ни-ни!.. Запрется у себя одинъ и пьетъ... Да, вотъ какой человѣкъ...

Пожелавъ хозяйкѣ покойной ночи, я ушелъ къ себѣ, улегся въ постель и долго раздумывалъ о своемъ новомъ знакомомъ и о его привычкѣ пить

водку на ночь тайно отъ всѣхъ. Если другіе собираются ради выпивки компаніей, идутъ въ ресторанъ или устраиваютъ пиршество у себя: въ этомъ какъ будто сказывается потребность на людяхъ размыкать горе, если оно — причина выпивки, или предаться веселью, если для него собрались заскучавшіе люди... А Иванъ Тимофѣичъ выпиваетъ одиноко, прибѣгая къ водкѣ, какъ къ лекарству или отравѣ: кто же пьетъ лекарство компаніей?

Впрочемъ, у Ивана Тимофѣича есть пѣвучая гитара, къ которой онъ относится, какъ къ другу...

Мое знакомство съ Иваномъ Тимофѣичемъ упрочилось, и, если вѣрить Евлампіи Егоровнѣ, я произвелъ на него благопріятное впечатлѣніе. Видѣться мы съ нимъ стали почти каждый день, и это обстоятельство нисколько не нарушало порядка распредѣленія моего дня, не мѣшало моимъ занятіямъ, и никогда ничѣмъ мой новый знакомый не отравлялъ моего существованія.

Прежде, чѣмъ войти ко мнѣ, онъ предупредительно постучится въ дверь и переступитъ порогъ только послѣ моего приглашенія. Входя, онъ, обыкновенно, извинялся, спрашивалъ, не помѣшалъ ли моей работѣ, прося быть откровеннымъ.

Бесѣдовали мы съ нимъ о разныхъ предметахъ и больше отрывочными фразами. Онъ разсказывалъ мнѣ о своей службѣ, или о чиновникахъ, среди которыхъ проводитъ большую часть дня, или подробно останавливался на тѣхъ сообщеніяхъ, которыя вычитывалъ въ уличной газетѣ, передавалъ содержаніе романа-фельетона или молчалъ и слушалъ меня. Пробовалъ я снабжать его книгами, разнообразя и содержаніе ихъ и авторовъ, но этимъ безсиленъ былъ заинтересовать его.

Книгу онъ держалъ у себя подолгу, приносилъ, когда я напомню ему о ней, а когда я распрашивалъ его, понравилось ли прочитанное—онъ отдѣлывался общими фразами. Иногда мы вмѣстѣ отправлялись въ театръ, причемъ Иванъ Тимофѣичъ охотно предоставлялъ мнѣ выборъ пьесы и съ одинаковымъ желаніемъ шелъ и на драму и въ оперу. Если на сценѣ смѣялись — улыбка кривила его губы, глаза сощуривались и блестящія искорки загорались въ нихъ, если за рампой тянулась грустная сцена — онъ сидѣлъ притихнувъ и глаза его дѣлались темными и матовыми. Музыка Рубинштейна въ «Демонѣ» произвела на него страшное впечатлѣніе и изъ театра онъ вышелъ угрюмымъ и подавленнымъ. Изъ всѣхъ сценъ самое сильное впечатлѣніе произвела на него сцена смерти князя Синодала. Онъ всю дорогу до дома описывалъ мнѣ картину кавказскихъ горъ, мрачное ущелье, темную ночь, останавливаясь на мельчайшихъ подробностяхъ сцены, съ появленія князя съ дружиной удалыхъ грузинъ и кончая смертью храбраго Синодала. Изъ всѣхъ мотивовъ оперы въ его памяти удержался лишь хоръ грузинъ въ этой сценѣ. Придя домой, онъ тотчасъ же принялся наигрывать на двухъ-трехъ струнахъ гитары этотъ мотивъ, меланхолически подпѣвая:

Но-о-о-ченька те-о-о-мная...
Скоро-ль пройдетъ... пройдетъ она?..

Были мы съ нимъ и на представленіи «Дяди Вани» труппы Станиславскаго. Послѣдній актъ пьесы просидѣлъ онъ въ какомъ-то гипнозѣ, съ блѣднымъ серьезнымъ лицомъ, широко раскрытыми глазами и тяжело дыша, и въ полутемномъ партерѣ его фигура казалась какимъ-то изваяніемъ... Когда вечеромъ, послѣ отъѣзда Астрова, дядя Вяня усѣлся за столъ, заваленный бумагами,

и принялся за работу, приживальщикъ Телѣгинъ заигралъ на гитарѣ и Соня подошла къ дядѣ со словами утѣшенія: — голова Ивана Тимофѣича упала на грудь; когда медленно сомкнулся занавѣсъ и зрительный залъ залило электричество — въ его глазахъ свѣтились слезы... Всю дорогу, пока мы шли домой, я дѣлился съ Иваномъ Тимофѣичемъ своими впечатлѣніями, но онъ молчалъ. Онъ никогда не заводилъ разговора объ этой пьесѣ, а когда послѣ этого бралъ гитару и въ комнатѣ дрожали печальные аккорды—лицо его дѣлалось такимъ же, какое я наблюдалъ въ театрѣ...

Потомъ струны смолкали, Иванъ Тимофѣичъ закуривалъ папиросу, затягивался дымомъ, клалъ окурокъ на край стола и, аккомпанируя на гитарѣ, напѣвалъ: «Но-о-о-ченька, те-о-о-мная»...

Служба была все въ жизни Ивана Тимофѣича. Говоря о ней, онъ почти всегда воодушевлялся такъ же, какъ и игрой на гитарѣ. Центромъ его мировоззрѣнія былъ тотъ столъ, за которымъ онъ ежедневно просиживалъ отъ 10 утра до 6 вечера, идеаломъ его былъ тотъ самый Игнатій Николаевичъ Савинъ, который зналъ больше, нежели секретарь управленія, и который, по разсказамъ, дивно игралъ на гитарѣ. Никогда я не слышалъ отъ Ивана Тимофѣича жалобъ на переутомленіе или на одуреніе отъ работы, которая меня свела бы съ ума своимъ однообразіемъ.

И фразу въ устахъ Евлампіи Егоровны о томъ, что Иванъ Тимофѣичъ, получившій первый чинъ, загулялъ, я понялъ именно въ томъ смыслѣ, въ какомъ и надо было понять. Это вовсе не значило, что онъ на радостяхъ запилъ, но это значило, что пульсъ его жизнедѣятельности забился быстрѣе, и сидя вечеромъ у себя, я, признаться, поджи-

далъ возвращенія Ивана Тимофѣича, чтобы совершенно искренно порадоваться вмѣстѣ съ нимъ.

Часу въ десятомъ онъ возвратился. Я слышалъ его громкіе шаги по корридору, слышалъ, какъ хлопнулась дверь въ его комнату и какъ потомъ онъ спѣшно зажегъ лампочку и принялся выдвигать ящики комода, шурша бумагой и ерзая ногами по полу.

Полчаса спустя онъ постучалъ въ дверь и, не дождавшись моего приглашенія, вошелъ, веселый и сіяющій. Крѣпко пожалъ онъ мою руку, извинился и присѣлъ на стулъ.

— Говорятъ, у васъ большая радость? — первымъ началъ я.

— Да... я теперь коллежскій регистраторъ! — отвѣтилъ онъ, и лицо его блаженно улыбнулось.

— Что же, теперь и жалованья будете получать больше?

— Нѣтъ, жалованье то же... Да мнѣ на это наплевать! важно то, что чинъ дали... Это вѣдь у насъ хорошее предзнаменованіе! Только бы первый получить, а тамъ и пойдетъ дѣло!.. Теперь я выбрался на дорожку! теперь хорошо!..

Онъ долго еще говорилъ о преимуществахъ своего положенія въ чинѣ коллежскаго регистратора, рисуя будущее въ розовыхъ краскахъ и любуясь своимъ настоящимъ.

— Какъ же!.. — жестикулируя, продолжалъ онъ: — вотъ сегодня по утру прихожу я въ управленіе и — бацъ!.. Смотрю — всѣ эти сторожа и курьеры ко мнѣ съ поздравленіемъ... Что, думаю, не сонъ ли! Бѣгу на верхъ и тамъ всѣ чиновники: Ура!.. Начальство-то еще не было въ управленіи. Тутъ и пошло! Домой послѣ занятій собираюсь, а эти курьеры опять съ поздравленіемъ, молъ, на

чаекъ... Далъ имъ мелочь... Песъ съ ними—пусть побалуются!..

Иванъ Тимофѣичъ провелъ рукою по волосамъ, продолжая:

— Опять же и по службѣ повышеніе... Сегодня я ужъ въ другомъ отдѣленіи занимался и за другимъ столомъ... Тутъ ужъ простыхъ-то писцовъ нѣтъ, а все съ чинами... да—а. Дѣло-то, положимъ, немного потруднѣе, ну, да привыкну!...

Поговоривъ еще немного на тему новыхъ служебныхъ обязанностей, Иванъ Тимофѣичъ всталъ, прошелся по комнатѣ и, остановившись передо мною, проговорилъ:

— Да... Вы извините, я бы вамъ обновку свою показалъ...

Не дождавшись моего отвѣта, онъ вышелъ къ себѣ въ комнату и черезъ нѣсколько минутъ снова пришелъ.

Я не сразу узналъ Ивана Тимофѣича. На немъ былъ одѣтъ вицмундиръ, со свѣтлыми пуговицами и съ петлицами на воротникѣ. Вицмундиръ былъ ему широкъ въ плечахъ и въ таліи, отчего морщился на спинѣ и свисалъ съ плечъ, зато красныя руки Ивана Тимофѣича высовывались изъ рукавовъ больше, чѣмъ на четверть.

— Купилъ сегодня у одной вдовы, на Выборгской сторонѣ она живетъ... Она—жена покойнаго товарища, у котораго я гитару-то купилъ... Немного только великъ, ну, да это пустяки, портному отдамъ—передѣлаетъ... А сукно-то вѣдь замѣчательное!.. право!..

Онъ поворачивался передо мною, осматривался, одергивалъ рукава и все спрашивалъ—хороша ли обновка, и успокоился только послѣ того, какъ я высказалъ свое мнѣніе.

Скоро мы распростились. Иванъ Тимофѣичъ

пожаловался на усталость и, крѣпко пожавъ мнѣ руку, сказалъ, что пойдетъ спать. Уходя, онъ продолжалъ осматриваться, выпячивалъ колесомъ грудь и пальцами оттягивалъ рукава вицмундира.

Для меня осталось тайной — скоро уснулъ Иванъ Тимофѣевичъ и въ эту ночь послѣ счастливаго дня, или пилъ, лежа въ постели, просыпался и снова пилъ... А, можетъ быть, его ласкали новыя мечты, и на зарѣ новой, какъ онъ говорилъ, жизни—его оставили прежнія привычки, и къ утру онъ уснетъ трезвымъ...

Для Ивана Тимофѣича началась новая жизнь— за это говорило все его поведеніе. Правда, его рабочій день ничѣмъ не измѣнился, онъ также рано вставалъ, шелъ на службу и возвращался въ обычные шесть часовъ. Но за то онъ пересталъ быть хмурымъ, какимъ казался раньше. Ко мнѣ онъ заходилъ почти каждый день, хотя и не надолго, и все говорилъ и говорилъ. Часто разсказывалъ онъ о своемъ новомъ начальствѣ или о работѣ, впрочемъ, называя ее «каторжной», и все же находя въ этомъ, какъ мнѣ казалось, что-то новое.

— Съ большого чиновника больше и взыщется — заканчивалъ онъ свою рѣчь въ такихъ случаяхъ. — Вонъ, посмотрѣли бы вы на нашего начальника отдѣленія: то и дѣло—то къ телефону требуютъ, то въ кабинетъ управляющаго, а то одѣнется, да въ одинъ мигъ куда-то на извозчикѣ... И все по дѣламъ!..

Своего новаго начальника отдѣленія Иванъ Тимофѣичъ, видимо, не жаловалъ, называя его суровымъ, дѣловымъ и черствымъ. Въ особенности не нравился ему его грубый голосъ, которымъ тотъ «точно отчеканиваетъ слова», дѣлая разныя приказанія по службѣ. О своихъ сослуживцахъ

Иванъ Тимофѣичъ отзывался съ почтеніемъ, называя каждаго изъ нихъ по имени и отчеству и всегда прибавляя при этомъ чинъ. Далѣе онъ принимался описывать обстановку комнаты, гдѣ теперь работаетъ, упоминая, что она занимаетъ центральное мѣсто во всемъ управленіи и окнами выходитъ на улицу.

— Это не та, что прежняя!.. Та была первой отъ входа, съ окнами во дворъ, такъ что иной разъ зимой весь день съ газомъ работаешь.

Въ его наружности также было замѣтно нѣчто новое. На службу ходилъ онъ въ вицмундирѣ, изъ-подъ лацкановъ котораго виднѣлась всегда чистая крахмальная сорочка съ галстухомъ, на которомъ торчала булавка съ тусклымъ стекломъ. Въ общемъ, Иванъ Тимофѣичъ казался мнѣ переродившимся. Теперь высоко держалъ онъ голову, выпячивая грудь, какъ будто громче говорилъ, иногда пускаясь въ споръ, и смѣялся безпечнѣе и веселѣе. Какъ-то однажды въ праздникъ, возвращаясь домой, я засталъ его на лѣстницѣ у двери въ квартиру. Маленькими гвоздиками онъ прибивалъ къ наружной сторонѣ двери свою новенькую визитную карточку, рядомъ съ моей, потемнѣвшей отъ времени.

— Здравствуйте! — поздоровался онъ съ улыбкой: — вотъ карточки заказалъ, надо прибить, а то неловко! Тѣмъ болѣе, на-дняхъ у меня будутъ гости — «вспрыски»...

Не успѣлъ я войти къ себѣ, какъ Иванъ Тимофѣичъ уже стоялъ противъ меня съ голубенькой коробкой съ визитными карточками. Онъ спрашивалъ меня — хорошо ли отпечатаны карточки и не дорого ли съ него взяли въ литографіи?

— А вотъ еще думаю сняться, а то неловко—

товарищи карточки просятъ! — добавилъ онъ, и опять счастливо улыбнулся.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, въ воскресенье, Иванъ Тимофѣеичъ зашелъ ко мнѣ часа въ два дня. Одѣтъ онъ былъ щеголевато, въ вицмундирѣ, съ новымъ галстухомъ на бѣлоснѣжной сорочкѣ и съ толстымъ шнуромъ черезъ шею; на шнурѣ болталось пенснэ съ дымчатыми стеклами.

Сегодня снимался! — съ улыбкой на лицѣ сообщилъ онъ. — Не знаю только, хорошо ли вышло — погода сегодня отвратительная!

— Гдѣ же вы снимались?

— Тамъ, на той сторонѣ, на Малой Морской... Сперва, видите ли, я у Исаакія былъ — сегодня тамъ митрополитъ служилъ по какому-то случаю, — а потомъ взялъ да и махнулъ въ фотографію! Черезъ недѣлю пробную карточку обѣщали. Вотъ тогда и посмотрите...

Онъ прошелся по комнатѣ, взялъ въ руку пенснэ, повертѣлъ стеклами, сложилъ ихъ и небрежно откинулъ на грудь. Немного помолчавъ, онъ добавилъ:

— Сегодня у меня «вспрыски»... Евлампія Егоровна обѣщала мнѣ свое зало для гостей, а то у меня въ комнатѣ гдѣ же всѣхъ принять, тоже человѣкъ десять наберется. Въ ресторанѣ тоже дорого бы вышло, а тутъ только на вино да на закуски затратишься.

Онъ еще разъ прошелся по комнатѣ и, пристально посмотрѣвъ на меня, добавилъ:

— Самъ Игнатій Николаичъ обѣщалъ придти... Вотъ тогда и послушаете — какъ онъ на гитарѣ-то играетъ! Я вчера и струны новыя купилъ — прелесть какія попались!.. Вы ужъ пожалуйте сегодня ко мнѣ въ гости, очень пріятно будетъ увидѣть

васъ! А гости у меня хорошіе будутъ, все чиновники, потому—въ нашемъ отдѣленіи все съ чинами, простыхъ-то писцовъ нѣтъ.

Не имѣя ничего противъ предложенія Ивана Тимофѣича, я все же не навѣрное обѣщалъ ему быть у него, такъ какъ предполагалъ провести этотъ вечеръ у одного знакомаго. Услыша это, онъ опечалился:

— Ну-у!.. А нельзя ли къ знакомому послѣ?

— Нѣтъ, не могу—ихъ день!

— А-а... Ну, хорошо, такъ вы хоть попозже!

Онъ долго еще упрашивалъ меня—непремѣнно придти къ нему на «вспрыски» и ушелъ почти убѣжденнымъ въ исполненіи своего желанія.

Въ началѣ двѣнадцатаго я, дѣйствительно, вернулся домой. Дверь отворилъ мнѣ самъ Иванъ Тимофѣичъ. Попятившись и осмотрѣвшись, онъ съ какимъ-то изумленіемъ посмотрѣлъ на меня, но потомъ воскликнулъ:

— Ахъ, это вы!—и потрясъ мнѣ руку.

Изъ зала вышли въ прихожую еще двое изъ гостей. Одинъ изъ нихъ, лысый съ баками человѣкъ, спросилъ:

— Не онъ?

— Нѣтъ, не онъ! — отвѣчалъ за Ивана Тимофѣича другой, низенькій черненькій субъектъ въ очкахъ.

— Не онъ! не онъ!.. Вѣрно, опоздалъ! — доносились голоса изъ зала.

Въ прихожей всѣ вѣшалки были переполнены верхней одеждой гостей, шапками и форменными фуражками. Зало было ярко освѣщено лампами и тамъ шумно бесѣдовали гости. Комната Ивана Тимофѣича также была освѣщена. По всей квартирѣ носились клубы табачнаго дыма, пахло водкой и пивомъ. Кто-то тренькалъ на гитарѣ.

— Вотъ-то загулялъ нашъ Иванъ Тимофѣичъ! — добродушнымъ тономъ начала Евлампія Егоровна, войдя за мною въ мою комнату. — Что же, пусть ихъ погуляютъ! Ужъ вы извините, быть можетъ, это для васъ и безпокойно! — извинилась она, торопливо зажигая лампу. Въ комнатѣ появился Иванъ Тимофѣичъ.

— Ужъ вы, пожалуйста, къ намъ! Чай у насъ, водка, вино, а съ холодку-то хорошо выпить! — говорилъ онъ, раскраснѣвшійся и веселый. Глаза его блестѣли и отъ него пахло водкой.

Въ залѣ, куда меня ввелъ Иванъ Тимофѣичъ, было человѣкъ 6—7 гостей. Всѣ они размѣщались вокругъ длиннаго стола посреди комнаты. На столѣ были разставлены бутылки и закуски, тутъ же стоялъ и самоваръ, за которымъ сидѣла Евлампія Егоровна и разливала чай. Иванъ Тимофѣичъ представилъ меня всѣмъ присутствовавшимъ и усадилъ ближе къ Евлампіи Егоровнѣ.

Сидя въ тѣни, отброшенной самоваромъ, я разсматривалъ гостей. Почти всѣ они были на веселѣ, только не одинаково на каждаго изъ нихъ повліяло выпитое.

Всѣхъ веселѣе выглядѣлъ молодой человѣкъ, съ пенснэ на носу, въ ловко сшитомъ смокингѣ, въ высокомъ воротничкѣ модной сорочки и съ толстой цѣпью на открытомъ жилетѣ. Онъ сидѣлъ съ гитарою въ рукахъ и все время наигрывалъ то вальсъ или польку, то какой-нибудь романсъ. Репертуаръ его состоялъ изъ бравурныхъ и веселыхъ пьесъ, и когда онъ игралъ, глаза его блестѣли и лукаво косились, а по всему лицу разливалось довольство. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ лысый человѣкъ съ баками, котораго я уже видѣлъ въ прихожей. Одѣтъ онъ былъ скромнѣе, но такъ же, какъ и его юный сосѣдъ, весело хохо-

талъ, говорилъ баскомъ и то и дѣло восклицалъ:

— А! А!.. Вотъ это хорошо! Это — чудный вальсъ! такъ и хочется пуститься...

— Что жъ, Романъ Лукичъ, пожалуйста! — говорилъ Иванъ Тимофѣичъ, ростопыривая руки и раскачиваясь всѣмъ корпусомъ въ тактъ вальса.

— Ну, вотъ еще! Ха-ха-ха!..—гоготалъ Романъ Лукичъ.

По другую сторону молодого человѣка съ гитарой сидѣлъ гость въ форменной тужуркѣ телеграфиста. Онъ, какъ потомъ оказалось, также игралъ на гитарѣ и все восхищался игрой молодого человѣка.

— Здорово! здорово!—поощрялъ игрока Романъ Лукичъ.

— А вы гдѣ брали уроки?—спрашивалъ телеграфистъ.

Не прерывая игры, тотъ буркнулъ фамилію какого-то чеха гитариста, повелъ глазами по комнатѣ и самодовольно улыбнулся.

Остальные гости сидѣли по другую сторону стола. Двое изъ нихъ были молодые люди лѣтъ 26—28, а третій, очевидно, былъ старше всѣхъ присутствующихъ. Иванъ Тимофѣичъ называлъ его Августомъ Андреичемъ, ухаживалъ за нимъ больше, чѣмъ за другими, и въ обращеніи его къ пожилому гостю была замѣтна какая-то почтительность. Августъ Андреичъ смотрѣлъ серьезно, говорилъ безапелляціонно, хмурилъ сѣдыя брови и часто пощипывалъ усы и жидкую бородку. Его сосѣди были молчаливы, смѣялись, когда кто-нибудь говорилъ смѣшное или когда молодой человѣкъ въ смокингѣ заиграетъ что-нибудь веселое. Иногда всѣ они склонялись другъ къ другу и говорили о чемъ-то въ полголоса. Иногда къ

нимъ подходилъ хозяинъ, вступалъ съ ними въ разговоръ, но чрезъ минуту я его видѣлъ уже или около музыканта, или возлѣ Евлампіи Егоровны, на лицѣ которой все время блуждала добродушнѣйшая улыбка. Музыканту Иванъ Тимофѣичъ говорилъ комплименты и обмѣнивался замѣчаніями съ его сосѣдями, а Евлампіи Егоровнѣ шепталъ что-то на ухо и, наконецъ, подходилъ ко мнѣ и начиналъ угощать меня чаемъ съ печеньемъ или съ коньякомъ.

— Народъ вѣдь это все очень хорошій!—тихо сообщалъ онъ мнѣ, кивая головой на гостей.— Вонъ тотъ, съ гитарой-то, Павелъ Иванычъ, племянникомъ нашему главному начальнику приходится, человѣкъ съ университетскимъ образованіемъ! Очень образованный! А вонъ тотъ, сѣдой-то, Августъ Андреичъ, большая шишка у насъ въ отдѣленіи—всѣми дѣлами ворочаетъ!

Иванъ Тимофѣичъ смолкъ, выпрямился и громко произнесъ:

— Ну, господа, выпьемъ!

Хозяинъ розлилъ по рюмкамъ вино и водку и всѣ поднялись и выпили. Евлампія Егоровна держала въ рукѣ рюмку хереса и тянулась къ Ивану Тимофѣичу и къ молодому человѣку, племяннику главнаго начальника. Иванъ Тимофѣичъ также тянулся къ нему и потомъ, обойдя столъ, подошелъ ко мнѣ, и мы чокнулись рюмками. Я еще разъ поздравилъ его, и онъ съ чувствомъ пожалъ мою руку.

Гитара изъ рукъ Павла Иваныча перешла къ телеграфисту, а племянникъ главнаго начальника и лысый чиновникъ отошли къ окну, о чемъ-то бесѣдуя. Двое молодыхъ людей и Августъ Андреичъ также разсуждали о чемъ-то, но уже полнымъ голосомъ. Августъ Андреичъ осуждалъ какую-то группу людей, называя ихъ «шайкой» и

возмущаясь ихъ поведеніемъ «послѣднихъ дней». Одинъ изъ молодыхъ людей, очевидно, былъ его сообщникъ, другой, напротивъ, возражалъ. Я поймалъ нѣсколько фразъ изъ разговора трехъ чиновниковъ и догадался, что говорилось именно о событіяхъ «послѣднихъ дней».

Къ столу подошли Павелъ Иванычъ и его лысый собесѣдникъ.

— Все это вздоръ! — вдругъ воскликнулъ первый, сверкнувъ глазами и уставившись въ лицо собесѣдника, не согласнаго съ Августомъ Андреичемъ. Я самъ былъ студентомъ четыре года и все это знаю!.. Вы, можетъ быть, обо всемъ этомъ по разсказамъ судите, а я самъ видѣлъ. Бывало это и раньше, когда я еще студентомъ былъ!..

Спорившій съ Августомъ Андреичемъ молодой человѣкъ изумленными глазами уставился на племянника главнаго начальника, и когда тотъ смолкъ, онъ не громко произнесъ:

— Я ничего не говорю!.. Я только говорю, что такъ бы не слѣдовало... Если бъ и насъ съ вами...

— Насъ съ вами никто не тронетъ! — рѣзко оборвалъ его племянникъ главнаго начальника:— мы съ вами на улицахъ не оремъ! Да-съ, не съумасшедшіе! А если они допустили это, да еще и цѣлой толпой—такъ ихъ и надо!.. Я вѣдь знаю, я самъ былъ въ университетѣ!

— Я тоже говорю!.. Вѣдь это шайка!.. шайка!..

Въ передней раздался рѣзкій звонокъ, и всѣ разомъ смолкли, точно громомъ оглушенные. Иванъ Тимофѣичъ бросился изъ комнаты со словами: «Это онъ! это онъ!» за нимъ слѣдомъ вышла и Евлампія Егоровна, а въ дверяхъ столпились гости.

Немного спустя въ залѣ появился высокій и стройный брюнетъ, въ темномъ длиннополомъ

сюртукѣ съ значкомъ на лацканѣ и въ цвѣтномъ жилетѣ. Поднявъ къ усамъ обѣ руки, съ блестящими кольцами на пальцахъ, онъ закрутилъ ихъ кончики и началъ здороваться, особенно дружественно пожавъ руку племяннику главнаго начальника.

Это и былъ долго ожидаемый Игнатій Николаичъ Савинъ. Раскланивался онъ галантно, говорилъ не громко, съ улыбкой на выхоленномъ лицѣ и прищуривая темные глаза. Передъ Иваномъ Тимофѣичемъ онъ извинился, что опоздалъ, объяснивъ это тѣмъ, что былъ въ оперѣ. Иванъ Тимофѣичъ улыбнулся и принялся угощать гостя чаемъ.

Заговорили о театрѣ. Говорили, впрочемъ, больше Игнатій Николаичъ и племянникъ главнаго начальника. Онѝ даже поспорили о голосѣ какой-то пѣвицы, но такъ какъ споръ сводился къ разговору о вкусахъ—то скоро и прекратился. До конца вечера больше уже не затрогивалось никакой спеціальной темы, а говорили о разныхъ «высшихъ» и «не высшихъ» матеріяхъ, немного посплетничали и покритиковали кое-кого изъ отсутствующихъ. Говорили всѣ разомъ и по одиночкѣ. Когда говорилъ Игнатій Николаичъ своимъ мягкимъ и пріятнымъ баритономъ - всѣ слушали его внимательно и, какъ мнѣ казалось. изъ всѣхъ насъ пальма первенства въ этомъ отношеніи принадлежала Ивану Тимофѣичу. Когда самоваръ былъ убранъ, а на столѣ появились новыя бутылки вина и пива,—началась настоящая попойка.

Прежде всѣхъ опьянѣли Иванъ Тимофѣичъ, телеграфистъ, лысый господинъ и племянникъ главнаго начальника. Послѣдній все время игралъ на гитарѣ, кивалъ головою, смѣялся и подпѣвалъ.

Игнатій Николаичъ пилъ только коньякъ и выпитое закусывалъ мятными лепешками; по мѣрѣ опьяненія лицо его преображалось, замѣтно краснѣя, кончики усовъ раскручивались, на лобъ сползали волосы, гладко причесанные въ моментъ появленія; глаза его еще больше щурились, зато когда расширялись—зрачки ихъ блестѣли сильнѣе.

Между Августомъ Андреичемъ и прежнимъ его оппонентомъ снова завязался споръ и, какъ скоро оказалось, на ту же тему, на которую они говорили до прихода Савина, вѣрнѣе, до рѣзкаго звонка, возвѣстившаго его появленіе.

Оппонента Августа Андреича звали Петромъ Осипычемъ. Это былъ брюнетъ лѣтъ 25, скромно, но прилично одѣтый; плечи его были узки и приподняты, руки—длинныя съ жилистыми кистями; на высокій залысившійся лобъ спадали пряди темныхъ волосъ, темные же усы и борода оттѣняли блѣдность щекъ; глаза его, темно-каріе и узкіе—блестѣли, голосъ былъ тихій и ровный, и, казалось, говорилъ онъ съ большимъ убѣжденіемъ, но робко.

— А я вотъ говорю, что это не правда, и вы напрасно силитесь защищать то, что подлежитъ осужденію,—говорилъ Августъ Андреичъ, горячась и вращая воспаленными глазами.

— Позвольте! позвольте!—возражалъ Петръ Осипычъ:—я не защищаю, я высказываю свое мнѣніе, такъ сказать, констатируя фактъ.

— Какъ же это «не защищаю»... Вы говорите, что...

— Вы говорите, что...—началъ было и сосѣдъ Августа Андреича.

— Я не защищаю!.. не защищаю!..—громко выкрикивалъ Петръ Осипычъ, и я видѣлъ, какой

злобой сверкали его глаза. Онъ махнулъ рукою и, вставъ, прошелся по комнатѣ.

Благодаря тому, что голоса спорщиковъ повысились до крика и ихъ замѣтно оживило возбужденіе—разговоръ сдѣлался общимъ.

— Нѣтъ-съ, позвольте-съ!.. — въ свою очередь громко воскликнулъ и Августъ Андреичъ и также приподнялся, преслѣдуя Петра Осипыча.

— Господа!.. Господа!.. — кричалъ племянникъ главнаго начальника, но его высокій тенорокъ былъ заглушенъ густымъ басомъ Августа Андреича, который размахивалъ руками, слѣдуя за противникомъ, расхаживавшимъ по комнатѣ.

— Господа! Игнатій Николаичъ! разсудите!— взывалъ Августъ Андреичъ къ авторитету Савина.

Тотъ обвелъ всѣхъ присутствующихъ внимательнымъ взоромъ и сказалъ что-то въ полголоса племяннику главнаго начальника.

Молодой человѣкъ презрительно усмѣхнулся, махнувъ въ сторону спорщиковъ рукою.

— Нѣтъ-съ, это не наше дѣло! — по прежнему не унимался Августъ Андреичъ.—Мы—чиновники! да-съ!.. Мы дальше своего управленія ничего не должны знать и не совать носъ не въ свое дѣло!..

— Конечно, мы—чиновники! Конечно!—горячо подтверждалъ и Иванъ Тимофѣичъ.

Голоса смолкли. Петръ Осипычъ, которому, очевидно, не понравился исходъ разговора съ Августомъ Андреичемъ, замолчалъ первымъ и принялся пить пиво. Лицо его было взволновано, глаза все еще блестѣли и даже руки немного дрожали. Августъ Андреичъ нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ, пощипывая бородку и, съ какой-то недовольной гримасой на лицѣ, косясь въ сторону Петра Осипыча.

— А вотъ, если бы васъ, Игнатій Николаичъ,

попросить сыграть что-нибудь! — обратился хозяинъ къ Савину, минуту спустя.

— Да! въ самомъ дѣлѣ, Игнатій Николаичъ! — поддержалъ хозяина и племянникъ главнаго начальника.

Игнатій Николаичъ снова обвелъ глазами присутствующихъ, какъ бы справляясь—всѣ ли просятъ его сыграть, и потомъ гордо отклонилъ эту просьбу. Всѣхъ усиленнѣе просилъ гостя хозяинъ, и его усилія закончились успѣхомъ. Взявъ гитару, Игнатій Николаичъ вытеръ платкомъ руки, настроилъ инструментъ какъ-то по своему и началъ вальсомъ. Игра его, дѣйствительно, останавливала вниманіе. Въ комнатѣ слышались тихіе и нѣжные аккорды, то усиливавшіеся, то замиравшіе въ какой-то тихой грусти.

Всѣ мы, притаивъ дыханіе и не шелохнувшись, слушали игру, и, казалось мнѣ, — звуки покорили громкіе и пьяные голоса, до того нарушавшіе тишину нашей всегда мирной и безмолвной квартиры, и примирили спорщиковъ. Иванъ Тимофѣичъ стоялъ сзади стула, на которомъ сидѣлъ Игнатій Николаичъ, и я видѣлъ его печальное лицо съ грустнымъ выраженіемъ въ глазахъ. На лицахъ гостей также было новое выраженіе: казалось, всѣ вдругъ задумались о чемъ-то и всѣмъ имъ припомнилось что-то грустное, какъ будто далекое и забытое и потревоженное теперь тихими и печальными аккордами... Звуки замолкли. Игнатій Николаичъ откинулся къ спинкѣ стула, улыбнулся и заигралъ новый мотивъ, и выраженіе на лицахъ слушателей разомъ смѣнилось. Улыбаясь и размахивая въ тактъ рукою, племянникъ главнаго начальника подпѣвалъ подъ аккомпаниментъ гитары:

Чтобы всѣмъ угодить —
Веселѣй надо быть...

Темпъ аккомпанимента участился и нѣсколько голосовъ разомъ повторили:

Чтобы всѣмъ угодить—
Веселѣй надо быть...

Разразился общій хохотъ и звуки гитары смолкли. Игнатій Николаевичъ вновь закурилъ потухшую папироску и съ улыбкой во все лицо заигралъ новый мотивъ. Нестройный хоръ пьяныхъ людей тянулъ:

Дай на тебя мнѣ посмотрѣть,
Поцѣловать и умереть...
Я обожа-а-ю, я обожа-а-ю...

Подъ пѣніе и хохотъ я незамѣтно для многихъ поднялся и вышелъ къ себѣ. Изъ-за тонкой перегородки, отдѣлявшей мою комнату отъ зала, голоса слышались явственно. Всѣ дружно тянули: «Я обожа-а-ю, я обожа-а-ю!..» Раздался новый взрывъ хохота, и я слышалъ голосъ Ивана Тимофѣича, властвующій надъ всѣми голосами.

Въ паузы, когда смолкала гитара, я слышалъ безпорядочный говоръ, звонъ рюмокъ и стакановъ, а потомъ новые и новые взрывы хохота. Полчаса спустя Игнатій Николаевичъ поднялся и громко заявилъ, что уходитъ, послѣ чего поднялся говоръ еще безпорядочнѣе. Многіе просили его оставаться, ссылаясь на то, что рано, и что веселье только-что началось. Кто-то даже предложилъ Игнатію Николаичу засѣсть въ «винтъ», но это предложеніе окончательно смутило Ивана Тимофѣича, и онъ принялся извиняться, что, не предусмотрѣвъ, не запасся картами...

Послѣ этого долго слышались привѣтствія, шорохъ ногъ и отрывочныя фразы. Изъ разговора оставшихся я легко заключилъ, что ушли Савинъ, племянникъ главнаго начальника и Петръ Осипычъ. Старикъ Августъ Андреичъ говорилъ кому-то громко и негодующе:

— Онъ что изъ себя корчитъ-то!.. Служитъ безъ году недѣля, а тоже въ споръ съ старыми служащими...

— Ну, да что тамъ—Богъ съ нимъ!—старался примирить Августа Андреича хозяинъ.

— «Богъ съ нимъ»!—передразнилъ Ивана Тимофѣича возмущенный старикъ:—Онъ думаетъ, что университетскій значекъ надѣлъ, такъ и ни вѣсть какая птица! Надумалъ служить, такъ всѣ эти шальныя-то мысли вонъ, а то, пожалуй, какъ бы и худо не вышло!.. Мы—чиновники... да-а...

— За чиновниковъ тостъ, господа... Ну!..—воскликнулъ телеграфистъ, при этомъ онъ почему-то выругался.

Всѣ задвигали стульями, слышался звонъ рюмокъ и стакановъ, а потомъ раздалось громкое ура! Вскорѣ послѣ этого выпили тосты еще за разныхъ лицъ и, наконецъ, Августъ Андреичъ зычно провозгласилъ:

— За нашего начальника управленія... У-ра!..

Я потушилъ лампу, укуталъ голову одѣяломъ и старался заснуть, но это мнѣ не удавалось—шумъ, хохотъ и говоръ мѣшали. Раза два Иванъ Тимофѣичъ стучался въ дверь моей комнаты и окликалъ меня, но я не подавалъ голоса и онъ уходилъ.

Разговоръ снова коснулся только что ушедшихъ гостей. Иванъ Тимофѣичъ восхищался игрою Игнатія Николаича, и его въ этомъ отношеніи поддерживали остальные, но какъ только заговорили объ Игнатіи Николаевичѣ, какъ о чиновникѣ и человѣкѣ — почти всѣ нашли его сердитымъ, требовательнымъ и даже суровымъ. Иванъ Тимофѣичъ не соглашался съ этимъ приговоромъ и старался опровергнуть невѣрно сложившееся мнѣніе тѣмъ, что Савинъ, будучи такимъ важнымъ

чиновникомъ, снизошелъ до того, что не отказался отъ участія въ его скромномъ торжествѣ.

— Ну, вы еще не знаете его,—возражалъ Августъ Андреичъ.—Раскусите-ка этотъ орѣхъ, такъ, пожалуй, и загорчитъ во рту. Я третій годъ подъ его началомъ служу и ужъ хорошо это знаю. Я вонъ на службѣ-то состарился, а онъ — въ дѣти мнѣ годится!.. Всѣ они такъ, «образованные-то»...

Голосомъ Августъ Андреичъ старался какъ-то особенно подчеркнуть это послѣднее слово.

— И чего они въ правду лѣзутъ! Вотъ и у насъ, въ телеграфномъ вѣдомствѣ, пошли эти студенты! Цѣлый институтъ открыли, напускали ихъ, такъ что и нѣтъ ходу тебѣ, маленькому человѣку!..

— А у насъ сколько теперь этихъ образованныхъ-то!.. Господи!..

Это говорилъ уже тотъ молодой чиновникъ, который вмѣстѣ съ Августомъ Андреичемъ доказывалъ неправоту воззрѣній Петра Осипыча.—Вотъ тоже и Петръ Осипычъ...

— Ну, ничего, скоро изъ него дурь-то выбьютъ!.. Замолчитъ...

Голосъ Августа Андреича звучалъ крайне недружелюбно. Перебивъ молодого чиновника, онъ говорилъ:

— Я и въ толкъ не могу взять—для чего ихъ берутъ на службу!.. Развѣ нашъ братъ, старый чиновникъ, плохъ? Мы науки-то не вѣдали, да за то ужъ служба-то наша вѣрнѣе... мысли-то разныя у насъ не водятся... Пустили вотъ козловъ въ огороды!..

Осуждая такъ «университетскихъ», Августъ Андреичъ какъ бы припоминалъ, что на этотъ счетъ у него имѣется и другое мнѣніе, которое онъ и резюмировалъ такъ:

— Что жъ! пусть ихъ!.. Выбьютъ изъ нихъ всю эту дурь-то!.. Выбьютъ!..

— А главное то, господа: они отбиваютъ у насъ мѣста!—высказался и Иванъ Тимофѣичъ.

О племянникѣ главнаго начальника никто отрицательно не отозвался, и только Августъ Андреичъ замѣтилъ, что «этотъ гусь далеко улетитъ».

Когда смолкалъ говоръ—гости пили, а потомъ опять слышались голоса, смѣхъ и звонъ гитары. Скоро я заснулъ тревожнымъ сномъ и долго сквозь сонъ слышалъ говоръ, смѣхъ и тихіе струнные звуки...

Такъ весело закончившійся единственный торжественный день въ жизни Ивана Тимофѣича оказался вѣщимъ въ худшемъ для него смыслѣ. Я уже никогда больше не видѣлъ его такимъ веселымъ и довольнымъ. Онъ казался мнѣ такимъ же, какимъ былъ раньше до полученія чина. Я заинтересовался его судьбою и нѣсколько разъ пытался узнать отъ него, что случилось въ его жизни, но онъ уклонялся отъ прямыхъ отвѣтовъ. Очевидно, онъ и самъ отъ себя скрывалъ свое разочарованіе, а что онъ былъ разочарованъ—въ этомъ я не сомнѣвался. Въ этомъ отношеніи результаты моихъ наблюденій совпадали съ наблюденіями Евлампіи Егоровны, и я еще больше убѣждался въ правотѣ моихъ предположеній.

— Да, что-то неладное съ нимъ творится,— говорила она, искренно сожалѣя Ивана Тимофѣича.—Когда чинъ-то получилъ скакалъ и плясалъ, а теперь опять— носъ на квинту!.. Вѣрно, какая-нибудь неудача по службѣ. Мнѣ-то онъ ничего не говоритъ, а только я вижу, что невесело у него на душѣ.

Немного помолчавъ, Евлампія Егоровна понизила голосъ и таинственно сообщила:

— Опять за старое принялся! Какъ ночь—такъ и пьетъ! ляжетъ въ постель и пьетъ... Знаю ужъ я его привычки-то: по утру какъ встанетъ—такъ въ кухню къ раковинѣ и цѣлый стаканъ холодной воды разомъ! А ужъ это всегда у него такъ было—нутро-то горитъ! А вѣдь недѣли двѣ этого совсѣмъ не было и былъ человѣкомъ. Опять же и характеромъ перемѣнился: теперь иной разъ и огрызнется, а раньше-то тихій былъ человѣкъ, брянчитъ себѣ на гитарѣ и счастливъ!..

Евлампія Егоровна серьезно посмотрѣла мнѣ въ глаза и добавила:

— Поговорите вы съ нимъ, можетъ, онъ вамъ и скажетъ... Человѣкъ-то вѣдь больно хорошій!.. Тихій!.. Опять же вонъ и къ службѣ сталъ невнимателенъ. Намедни два дня изъ дома не выходилъ и числился больнымъ... Болѣзнь-то, разумѣется, не спроситъ, угодна ли она человѣку, да только болѣзнь-то его другого рода, за нее, пожалуй, и на службѣ не похвалятъ! Каждую ночь почти по бутылкѣ осушаетъ. Теперь ужъ и ко мнѣ сталъ обращаться. Самъ въ постели лежитъ, на службу не ходитъ, а меня призываетъ и Христомъ-Богомъ молитъ: «Сходите, Евлампія Егоровна, въ казенку, безъ водки мнѣ не поправиться». Что жъ съ нимъ подѣлаешь—сходишь...

Я пообѣщалъ Евлампіи Егоровнѣ поговорить съ Иваномъ Тимофѣичемъ и при каждомъ удобномъ случаѣ старался исполнить обѣщаніе, но мнѣ не скоро удалось открыть тайну настроеній чиновника. Ко мнѣ онъ сталъ заходить рѣже, говорилъ мало и не всегда сопровождалъ меня въ театръ. Однажды, впрочемъ, онъ самъ пригласилъ меня пойти въ циркъ. Сначала я отклонялъ это намѣ-

реніе и склонялъ Ивана Тимофѣича пойти въ театръ, но онъ настоялъ, и я уступилъ.

Въ циркѣ мы съ нимъ сидѣли гдѣ-то высоко. Иванъ Тимофѣичъ громко выражалъ свое восхищеніе, видя красивыхъ лошадей, дивился отвагѣ и смѣлости акробатовъ и неудержимымъ смѣхомъ отзывался на глупыя выходки клоуновъ. Когда послѣ представленія мы вышли на улицу — онъ снова сталъ угрюмымъ и молчаливымъ. По пути къ дому мы заходили съ нимъ въ ресторанъ на Невскомъ, побывали въ кофейной, и среди шумной разнохарактерной толпы Иванъ Тимофѣичъ снова повеселѣлъ. Мнѣ разсказывалъ онъ о томъ, какъ весело проходятъ вечера въ загородныхъ ресторанахъ, искренно сожалѣя, что нѣтъ денегъ, чтобы поѣхать туда. Послѣ часу ночи, когда кофейная закрылась, мы съ нимъ снова очутились на улицѣ и, какъ и прежде, онъ опять сталъ хмурымъ и молчаливымъ.

На другой день, часовъ въ одиннадцать вечера, онъ вошелъ ко мнѣ въ комнату не постучавшись. Признаться, я былъ немного изумленъ этимъ визитомъ, такъ какъ думалъ, что его нѣтъ дома. Вошелъ онъ ко мнѣ, слегка покачиваясь, и съ мутнымъ выраженіемъ въ сощуренныхъ глазахъ. Лицо его было помято и блѣдно, волосы на головѣ безпорядочно перепутаны. Одѣтъ онъ былъ въ ветхій пиджакъ, изъ-за котораго виднѣлась ночная сорочка съ разстегнутымъ воротомъ. Въ такомъ костюмѣ онъ никогда не переступалъ порога моей комнаты и, вообще — я никогда не видѣлъ его въ такомъ видѣ.

— Здравствуйте!—не громко проговорилъ онъ, крѣпко пожалъ мою руку и потомъ потрясъ ее.— Вы уже меня извините — я прямо съ постели... Занимаетесь?..

— Нѣтъ, читаю.

— То-то... Будетъ вамъ—отдохните, всего дѣла не передѣлаешь... Она, проклятая работа, вотъ гдѣ у насъ у всѣхъ!—И онъ показалъ рукою на собственную спину.

— Я вотъ лежалъ, лежалъ... Не спится что-то и голова тяжела.

Иванъ Тимофѣичъ пристально посмотрѣлъ мнѣ въ лицо, какъ бы задаваясь вопросомъ—вѣрю ли я его словамъ? и, очевидно, убѣдившись въ этомъ —продолжалъ:

— Не хотите ли вы рюмочку водки выпить? Съ устатку-то хорошо!..

— Я не усталъ...

— Ну, такъ—для веселья!..

— Да мнѣ не скучно, Иванъ Тимофѣичъ.

— Не скучно! Ну, это хорошо! А вотъ у меня что-то подъ ложечкой ноетъ, сосетъ что-то тамъ... Сердце сосетъ, душу выворачиваетъ, а отъ чего—понять не могу. Выпью вотъ—и полегче станетъ! А потомъ опять засосетъ, заможжитъ все нутро! На службѣ сидишь, работаешь, а нутро ноетъ... Что-то такое сердце мое сосетъ...

— Вамъ бы у доктора побывать,—совѣтую я.

Онъ поднялъ на меня глаза и, какъ будто не разслышавъ моихъ словъ, продолжалъ:

— А, можетъ быть, по рюмочкѣ выпьемъ? А?.. У меня водка хорошая, столовая, и кильки есть!..

Я снова отказался.

— Ну, если не хотите, то и не надо!.. Можетъ быть, гитару принести?..

Я попросилъ гостя принести гитару, что онъ быстро и исполнилъ. Возвращаясь, онъ прожевывалъ что-то и, усѣвшись на стулъ, сообщилъ мнѣ, что выпилъ еще рюмку.

— Слышали, какъ Игнатій Николаичъ играетъ?

А?.. Вотъ хорошо играетъ!.. Такъ у него все выходитъ!..

Иванъ Тимофѣичъ настроилъ гитару и заигралъ тотъ самый вальсъ, которымъ когда-то удивлялъ насъ всѣхъ Савинъ. Сыгравъ какую-то веселую польку, Иванъ Тимофѣичъ перестроилъ инструментъ по новому и заигралъ свою любимую «Ноченьку» изъ Демона. Повторивъ одинъ и тотъ же мотивъ нѣсколько разъ, онъ проговорилъ:

— Что-то сегодня не налаживается моя игра.

— Соснуть бы вамъ, а то посмотрите, какое у васъ блѣдное лицо,—посовѣтовалъ я ему.

— Не спится!—отвѣчалъ онъ, и въ голосѣ его послышалось отчаяніе.

Онъ разомъ оборвалъ какой-то печальный аккордъ, отложилъ гитару въ сторону и, вставъ, прошелся по комнатѣ.

— На службѣ у меня нѣчто неладное!—началъ онъ, усѣвшись на стулъ.—Думалъ я—вотъ дадутъ чинъ и вздохну, а вышло не такъ! Начальникъ мой новый поѣдомъ меня ѣстъ! совсѣмъ бѣда! И неотесанный-то я, и безграмотный-то, и то, и се. «Вамъ, говоритъ, не въ управленіи служить, а гдѣ-нибудь въ провинціи, въ волостномъ правленіи». Это мнѣ-то въ волостное правленіе! послѣ столькихъ лѣтъ службы! А? Какъ это вамъ понравится? Да еще упрекаетъ меня за то, что чинъ мнѣ дали; по его мнѣнію, видите-ли, я не стою этого! «Разослать, говоритъ, всѣхъ васъ по провинціи, а на ваше мѣсто мы здѣсь образованныхъ найдемъ». Все намъ «университетскихъ» въ носъ тычетъ, а вы, говоритъ, шушера безграмотная!.. Что жъ, и въ провинціи служить можно, и тамъ будутъ жалованье платить, да только что же изъ этого выйдетъ? Развѣ тамъ по службѣ выдви-

нешься.. Гдѣ же! Такъ и умрешь съ маленькимъ чиномъ!

Послѣднія слова Иванъ Тимофѣичъ произнесъ какимъ-то упавшимъ, вялымъ голосомъ, съ тоской въ глазахъ посмотрѣлъ на меня, всталъ и, молча распрощавшись, вышелъ.

Какъ то черезъ нѣсколько дней я вернулся домой послѣ 12 часовъ ночи. Дверь открыла мнѣ Евлампія Егоровна, встрѣтивъ меня съ свѣчою въ рукахъ.

— Господи! Слава Богу, что вы пришли! — встрѣтила она меня съ безпокойствомъ въ голосѣ и шепотомъ добавила: — не знаю, что съ нимъ дѣлается: бушуетъ, кричитъ, ругается! Встрѣтился тутъ вотъ съ жильцомъ, со студентомъ-то, и разбранился... Ничего ему Ѳедоръ Николаичъ и не сказалъ, а такъ вотъ увидѣлъ и давай бранить!.. Тотъ ушелъ, разсердился... «Завтра, говоритъ, уѣду отъ васъ!» А я развѣ виновата? Онъ вѣдь буянитъ, шелапутъ, пьяница!

Въ корридоръ изъ двери въ комнату Ивана Тимофѣича падала полоса свѣта. Слышались звуки гитары. Я прошелъ къ себѣ, зажегъ лампу и не успѣлъ еще раздѣться, какъ дверь въ мою комнату широко распахнулась, и пьяный и растрепанный Иванъ Тимофѣичъ стоялъ на порогѣ. Онъ былъ въ вицмундирѣ и въ разстегнутомъ жилетѣ. Увидя меня, онъ бросился впередъ и громко закричалъ:

— А-а-а! Вотъ мой другъ-то... А!.. Здравствуйте!..

Онъ навалился на меня всѣмъ тѣломъ, вцѣпился въ мои руки и намѣревался разцѣловаться со мною. Отъ него пахло перегорѣлой водкой, глаза дико блуждали и на ногахъ онъ держался не твердо.

— Пойдемъ водку пить, другъ!.. Ну! Пойдемъ! Цѣлая бутылка у меня, не початая!.. Яблоки есть, селедка!..—грубо приглашалъ онъ, не выпуская моихъ рукъ. Я старался отстранить его и успокоить.

— Пойдемъ! А!.. Ради Бога!.. Милый, дорогой мой другъ!.. Пойдемъ!..

Онъ покачнулся, отступилъ отъ меня шага на два и, уставившись на меня злобными глазами, выкликалъ:

— А, можетъ, и ты тоже, какъ вонъ... этотъ студентишко!.. А?.. Я ему въ морду хотѣлъ!.. Прямо въ морду!.. Проклятое животное!.. Ходу отъ нихъ нѣтъ! Въ морду ихъ!..

Засучивъ рукава вицмундира, онъ размахивалъ руками, протягивая ихъ къ моему лицу и попрежнему грубо кричалъ:

— Не хочешь?.. А?.. Со мной не хочешь якшаться?.. А?.. Я и тебѣ въ морду дамъ!..

Я молчалъ. Покачиваясь, онъ все еще размахивалъ руками и въ упоръ смотрѣлъ на меня.

— Пойдешь, что-ли?

— Нѣтъ.

— Нѣтъ?.. Ну, и чортъ съ тобой!..

Онъ сильно покачнулся въ сторону, едва удержавшись на ногахъ и, подойдя къ двери, добавилъ:

— Вѣрно, всѣ вы прохвосты!.. Право, прохвосты!.. Поганцы!..

Онъ съ страшной силой ударилъ кулакомъ въ дверь и она, громыхнувъ, широко распахнулась. Ругаясь, Иванъ Тимофѣичъ прошелъ къ себѣ въ комнату, залпомъ выпилъ рюмку водки, схватилъ со стола гитару и усѣлся на кровать. Теперь брань его слышалась подъ аккомпаниментъ гитары. Я притворилъ къ себѣ дверь.

— Затворяйся! затворяйся!.. Прохвостъ! Гадина!—ругался онъ.

Звуки гитары окончательно смолкли, а черезъ минуту снова слышался печальный и тревожный мотивъ. Глухимъ голосомъ Иванъ Тимофѣичъ пѣлъ: «Но-о-ченька!.. те-е-м-ная!.. Скоро-ль пройдетъ она?..»

Вдругъ аккорды гитары оборвались и въ комнатѣ Ивана Тимофѣича послышался рѣзкій звонъ и трескъ.

— Сволочь! Прохвосты!—дико закричалъ онъ на всю квартиру, и я слышалъ, какъ онъ грохнулся на полъ.

Я бросился въ корридоръ. Евлампія Егоровна съ рыданіями суетилась въ комнатѣ Ивана Тимофѣича, озаренной одинокой лампадой. Стащивъ съ плечъ шаль, она старалась прикрыть ею лампу, валявшуюся на полу съ горящимъ фитилемъ. Тутъ же у кровати лежалъ Иванъ Тимофѣичъ въ страшной истерикѣ. Я бросился въ кухню, схватилъ съ плиты свѣчу и, запасясь водой, тотчасъ же вернулся обратно.

Съ большимъ трудомъ я поднялъ Ивана Тимофѣича съ пола, уложилъ на кровать и старался влить воду ему въ ротъ. Черезъ нѣсколько секундъ рыданія его и хохотъ смолкли. Грудь его высоко поднималась, глаза были полуоткрыты, на губахъ виднѣлась пѣна. Я разстегнулъ его жилетъ, сорочку и орошалъ водою его грудь, шею и лицо. Скоро дыханіе его стало тихое, какъ у спящаго, и только губы еще вздрагивали.

— Какъ еще онъ пожару не сдѣлалъ! Господи!—вздыхала Евлампія Егоровна; въ ея рукахъ дрожала горящая свѣча.

Я предложилъ ей уйти, пообѣщавъ остаться

возлѣ Ивана Тимофѣича. Она глубоко вздохнула и ушла.

Комната потонула въ сумракѣ. Я прислушивался къ дыханію Ивана Тимофѣича и смотрѣлъ на его исхудалое лицо. Я повелъ глазами по полу, чтобы осмотрѣть послѣдствія катастрофы. Блѣдно-красный спокойный свѣтъ лампады ровной полосой ложился на половицы. У ножки стола лежалъ пьедесталъ отъ лампы и осколки абажура...

У окна валялась разбитая нѣвучая гитара...

„ОБЛЕТѢЛИ ЦВѢТЫ, ДОГОРѢЛИ ОГНИ".

(Очеркъ).

Около одиннадцати часовъ вечера по Вознесенскому шли два молодыхъ художника. Кутаясь въ пальто съ барашковыми воротниками, они торопливо шагали по панели, подгоняемые морозомъ, но это не мѣшало имъ весело болтать, задорно смѣяться и злословить. За глаза они подтрунивали надъ своимъ профессоромъ, который, не смотря на сѣдину въ бородѣ, отчаянно ухаживаетъ за ученицей Силиной, жгучей брюнеткой съ карими глазами.

— Стой! — неожиданно выкрикнулъ одинъ изъ нихъ, высокій блондинъ съ маленькой бородкой, когда пріятели поровнялись съ громаднымъ окномъ цвѣточнаго магазина.—Посмотри, какая прелесть! На дворѣ такой морозище, а тамъ!.. Цвѣтутъ они и благоухаютъ!.. Это напоминаетъ мнѣ дивную Италію!..

— Ну, плюнь!.. пойдемъ... холодно! — протестовалъ художникъ пониже, но все же остановился у окна и засмотрѣлся на цвѣты.

Озаренные фіолетовымъ свѣтомъ электрическихъ лампочекъ, цвѣты, дѣйствительно, останавливали вниманіе прохожаго. Ярко-красные, голубоватые, какъ бирюза, бѣлые, какъ снѣгъ, они кра-

совались за стекломъ, подернутымъ иглами мороза, и казались равнодушными и къ суровой зимѣ, и къ холодному вечеру и къ вьюгамъ, а надъ ними простирали свои громадные листья пальмы, филодендры и фикусы, и у самаго стекла стояла стройная, зеленая горная сосенка.

— А вынеси въ эту минуту любой бутончикъ на улицу—и опуститъ онъ свою красивую головку и скоро, скоро поблекнетъ!..

Не успѣлъ высокій художникъ закончить своей фразы, какъ дверь магазина отворилась и на панели появилась высокая, стройная брюнетка, въ свѣтлой шапочкѣ на темныхъ вьющихся волосахъ и въ короткомъ жакетѣ, отороченномъ по воротнику и вдоль полы свѣтлымъ барашкомъ, подъ цвѣтъ шапочки.

— А вотъ выпалъ на улицу ландышъ серебристый и не боится мороза!—приподнятымъ тономъ воскликнулъ художникъ пониже, и его глаза съ лукавой улыбкой встрѣтились съ глазами брюнетки.

Та вспыхнула, догадавшись, по адресу кого была брошена эта фраза, сверкнула зрачками темныхъ ясныхъ глазъ, улыбнулась и пошла дальше. Полминуты спустя она снова обернулась и встрѣтилась съ двумя парами веселыхъ, внимательныхъ и восхищенныхъ глазъ молодыхъ людей. Дѣвушка смутилась и пошла быстрѣе. Художники медленно и лѣниво пошли своею дорогой. Теперь они уже не злословили надъ своимъ профессоромъ, и каждый изъ нихъ, въ тайнѣ одинъ отъ другого, думалъ о цвѣтахъ, о серебристыхъ ландышахъ, о брюнеткѣ въ свѣтлой шапочкѣ...

Быстро шагая по свѣжему похрустывавшему снѣгу панели, Надя думала о молодыхъ людяхъ, а въ ея ушахъ все еще звучала фраза о ландышѣ.

выпавшемъ на улицу, и щекотала ея чуткое самолюбіе. Поровнявшись съ угломъ улицы, она еще разъ невольно оглянулась и пристально посмотрѣла вдоль панели. Въ морозномъ воздухѣ, залитомъ электрическимъ свѣтомъ, мелькали блестящія пушистыя снѣжинки, по панелямъ двигались темныя закутанныя фигуры пѣшеходовъ, по улицѣ взадъ и впередъ сновали сани, слышался говоръ, глухой и невнятный, слышался скрипъ подъ полозьями саней.

Надя повернула въ узкій и глухой переулокъ, и сердце ея словно упало. Здѣсь было сумрачно, газовые рожки уныло мигали, по обѣ стороны переулка тянулись стѣны темныхъ домовъ... Безлюдно, сумрачно и непривѣтливо! Непривѣтливо, какъ въ ихъ маленькой квартиркѣ, съ низкимъ потолкомъ, потертыми половицами и съ темными, замазанными обоями стѣнъ. Въ зальцѣ одинокая лампа подъ зеленымъ абажуромъ, у стола старуха мать съ постоянно перевязанною щекою, а въ сосѣдней комнатѣ братъ Коля вслухъ подзубриваетъ уроки... Скучно, темно и однообразно!

Каждый день впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ одна и та же однообразная жизнь, и лучше бы никогда не видѣть этой ветхой и угрюмой обстановки комнатъ, не сидѣть по вечерамъ у лампы съ зеленымъ абажуромъ, не слышать стоновъ больной матери, или тягучаго, противнаго и какого-то неестественнаго голоса брата, который цѣлые вечера проводитъ надъ скучными учебниками.

Сегодня Надѣ не хотѣлось бы думать объ этомъ! Такъ хорошо прошелъ ясный морозный день! Въ магазинѣ съ утра до вечера перебывало много покупателей, слышался говоръ, веселый и безпечный, и такъ хорошо пахло цвѣтами! У нихъ въ магазинѣ всегда какой-то особенный тонкій аро-

матъ духовъ, и даже электрическія лампочки свѣтятъ особенно: на потолкѣ, на полу и на стѣнахъ лежатъ узорныя тѣни растеній, а разноцвѣтные бутоны еще ярче выступаютъ на темномъ фонѣ зелени.

Въ магазинъ заходитъ только чистая публика. Пріѣзжаютъ дамы франтихи, отъ которыхъ также пахнетъ духами, заходятъ надушенные, красивые и веселые кавалеры, выбираютъ букеты, а иногда увозятъ цѣлыя корзины пахучихъ веселыхъ цвѣтовъ!.. Нѣмка-хозяйка не держитъ мрачныхъ надгробныхъ вѣнковъ, и все, что растетъ и зеленѣетъ въ обширномъ магазинѣ, все, что цвѣтетъ и благоухаетъ въ зелени красивыхъ узорныхъ листьевъ,— все это подготовлено для жизни, для радости, наслажденія и счастья!..

И работа у Нади легкая и чистая! Изъ дома выходитъ она не раньше десяти часовъ утра, и потомъ все время проводитъ среди красивыхъ благоуханныхъ цвѣтовъ, или разбирая своими тоненькими пальцами нѣжные стволики растеній съ разноцвѣтными головками, или ходя по магазину около цвѣтовъ и бесѣдуя съ покупателями. Въ свободное отъ занятій время Надя усаживается у широкаго окна въ зелени растеній и сквозь переплетъ вѣтокъ и узорныхъ листьевъ смотритъ на бойкій проспектъ. Когда надоѣстъ смотрѣть въ окно, она беретъ книгу и сидитъ въ тишинѣ надъ раскрытыми страницами, слѣдя за интересной фабулой романа или повѣсти. Въ книгахъ, которыя ей приходилось читать, описывается, большею частью, жизнь такихъ людей, съ какими Надя никогда не встрѣчалась въ дѣйствительности. И ей всегда казалось, что нарядныя барыни и кавалеры, которые заходятъ въ магазинъ, также герои и героини такихъ же романовъ и повѣстей. Когда

въ книгѣ встрѣчались страницы описанія иной жизни, и когда въ романахъ описывались люди, которые казались Надѣ похожими на ея мать, тетю Сашу, дядю Ваню и ихъ многочисленныхъ родственниковъ и знакомыхъ, — она пропускала такія страницы, потому что дѣйствительная жизнь, ея жизнь, полна такими же скучными и однообразными днями и этими скучными нудными людьми, которые все время говорятъ о нуждѣ и заботахъ, ноютъ подъ бременемъ жизни, родятся въ нищетѣ и умираютъ отъ нищеты и горя.

И зачѣмъ это сегодня лѣзутъ въ голову эти невеселыя противныя думы, и чѣмъ ближе къ дому — тѣмъ неотвязчивѣе онѣ. Сегодня все утро мать вздыхала и говорила о томъ, что вотъ уже вторую недѣлю комната, которую они сдаютъ жильцамъ, пустуетъ. Старушка соображала, каковъ будетъ убытокъ, благодаря этому непріятному обстоятельству и разсчитывала, сколько придется приплатить за квартиру, урѣзавъ жалкую пенсію. Потомъ она говорила еще что то о дровахъ, о Колиной курточкѣ, за ветхость которой мальчуганъ уже получилъ выговоръ отъ инспектора гимназіи. И пока Надя одѣвала въ прихожей жакетъ и шапочку, чтобы уйти отъ ненавистной обстановки въ міръ цвѣтовъ, изъ сосѣдней комнаты все еще слышался тягучій голосъ матери. Впродолженіе дня она забыла объ этой скучной и сѣрой жизни, а теперь, при тускломъ освѣщеніи узкаго переулка, опять все припомнилось.

Надя миновала первый дворъ дома, гдѣ они жили, прошла и мрачную арку съ темной дверью въ дворницкую и вышла въ узкій и вонючій второй дворъ, куда выходила черная лѣстница, съ узкими площадками и съ тусклыми и робко вздрагивавшими керосиновыми лампами въ не-

уклюжихъ фонаряхъ. На звонокъ Надѣ отворила сама мать. Въ прихожей было темно, въ сосѣдней комнатѣ, подъ неизмѣннымъ зеленымъ абажуромъ, горѣла лампа, заливая тусклымъ свѣтомъ сѣрую скатерть съ красной бахромой, большой овальный мѣдный подносъ съ чашками и чайникомъ и тарелку, на которой лежалъ сѣрый дешевый ситникъ, нарѣзанный толстыми неуклюжими ломтями. Со всѣхъ сторонъ Надю обступали темныя стѣны, съ дешевыми картинками, сверху давилъ низкій потолокъ, а со двора сквозь стекла двойныхъ рамъ смотрѣла черная непривѣтливая ночь, и свѣтленькія гардины, перевязанныя розовыми ленточками, казалось, еще болѣе оттѣняли темные фоны стѣнъ и оконъ.

Все время, пока пили чай, мать вздыхала, охала отъ зубной боли и разсуждала на тѣ же длинныя темы нужды и заботъ; не разъ заговаривала она и о пустующей комнатѣ, прося Бога услышать ея молитву и послать жильца—тихаго и исправнаго плательщика...

— Вотъ тоже и еще забота, — вдругъ проговорила она, поднявъ глаза на Надю: — инспекторъ говоритъ, что Колинькѣ репетитора надо передъ экзаменами, а то онъ слабъ тамъ въ чемъ-то...

Послѣ короткой паузы старуха перевела глаза на сына и, перемѣнивъ тонъ, продолжала:

— Ужъ сколько разъ я тебѣ твержу, сколько твержу—занимайся, старайся, отца то у тебя нѣтъ!.. И все, какъ въ стѣну горохъ... Не проймешь тебя, Николай, ни бранью, ни лаской... Одна вѣдь я, да и пенсія то одна!.. Вонъ Надюша пятнадцать получаетъ, и тебѣ бы, вѣрно, идти куда нибудь въ услуженіе, а то когда ты выучишься!.. Господи!.. Господи!..

Она долго еще говорила на эту невеселую тему...

Морщинистое желтое лицо ея, казалось, еще больше похудѣло, слезящіеся глаза заплыли въ складки, блѣдныя губы шевелились какъ то устало, словно и дѣйствительно онѣ утомились изо дня въ день произносить одно и то же, одно и то же...

Надя и Коля были заняты своими думами. Коля размышлялъ объ экзаменахъ, которые всякій разъ смущали его покой, отравляя юношескую удаль и безпечность; размышлялъ онъ и объ репетиторѣ, и зналъ заранѣе, что сколько ни думай на эту тему, все равно — изъ думъ репетитора не выдавишь. То же самое было и въ прошломъ году: инспекторъ совѣтовалъ взять репетитора, дома и мать и Надя также очень долго говорили о репетиторѣ, а готовиться къ экзаменамъ все же приходилось одному, и Коля утѣшалъ себя, что прилежаніемъ или зубрежкой онъ добьется перевода въ четвертый классъ...

Надя торопилась покончить съ чаемъ, чтобы уйти отъ этихъ скучныхъ разговоровъ. Она зажгла маленькую лампочку, прошла въ свою комнатку, и, плотно притворивъ за собою дверь, вздохнула свободнѣе. Всю меблировку ея крошечной комнаты составляла постель подъ бѣлымъ пикейнымъ одѣяломъ съ кружевными накидками на подушкахъ, небольшой комодъ, уставленный какими то коробочками, стклянками изъ подъ духовъ и дешевыми грубыми статуетками. Посрединѣ комода стояло небольшое овальное зеркало, кромѣ рамы, почему то еще обернутое тюлемъ. На комодѣ въ вазахъ стояли цвѣты; это были искусственные цвѣты, но изящно сдѣланные и до иллюзіи походившіе на цвѣты живые; на стѣнѣ, окружая какія то фотографическія карточки, были еще цвѣты, но это были уже поблекшіе и потемнѣвшіе бутоны. Надя не рѣдко приносила изъ магазина цѣлые букеты

цвѣтовъ, «бракъ», какъ называли эти букеты и хозяйка, и помощница Нади, но все же эти цвѣты пріятно пахли и, приколотые къ стѣнѣ, радовали дѣвушку.

Надя посмотрѣла въ зеркало, озаренное лампой, и улыбнулась, довольная своимъ красивымъ личикомъ, все еще залитымъ румянцемъ. А глаза ея, темные и лучистые, все также были широко раскрыты, словно она хотѣла прочесть на своемъ лицѣ то *новое*, что волнуетъ ее весь вечеръ, съ тѣхъ поръ, какъ появился въ магазинѣ «онъ», высокій, стройный, съ красивымъ юнымъ лицомъ, на которомъ разгорѣлся отъ мороза румянецъ и темненькіе усики обрисовывались такими задорными стрѣлками...

Надя помнитъ, какъ быстро онъ вошелъ, распахнулъ николаевскую шинель съ бобровымъ воротникомъ, звякнулъ шпорами и, слегка прикоснувшись пальцами къ фуражкѣ, попросилъ Надю показать цвѣты. При этомъ его глаза какъ то особенно сверкнули; онъ быстро окинулъ взглядомъ дѣвушку и улыбнулся. Говорилъ онъ тихо, нараспѣвъ и, разсматривая то одинъ то другой изъ букетовъ, подносилъ цвѣты къ лицу и въ упоръ смотрѣлъ въ лицо дѣвушкѣ. Глаза ея встрѣчались съ его взглядами, и она почему то краснѣла, робѣла, а голосъ ея словно упалъ и сердце отъ чего то съ тревогою билось. Наконецъ, онъ выбралъ два букета и попросилъ составить изъ нихъ одинъ. Пока дѣвушка перебирала нѣжные стволики, присматриваясь къ букетамъ, онъ не спускалъ съ нея глазъ и тихо говорилъ:

— Вотъ такъ... такъ... Этотъ сюда... А тотъ красный бутонъ, пожалуйста, сюда, выше другихъ... вотъ такъ...

Офицеръ поднялъ глаза и посмотрѣлъ на крас-

ный цвѣтокъ, приколотый къ темнымъ вьющимся волосамъ дѣвушки. Надя поймала этотъ мимолетный, но какой то особенный взглядъ, и они оба покраснѣли. Онъ быстро повернулся и подошелъ къ кассѣ, а Надя повела глазами по магазину, словно озабоченная — не подсмотрѣлъ ли кто ихъ нѣмыхъ взглядовъ. Вокругъ Нади стояли молчаливыя, декоративно разставленныя растенія, а красивые цвѣты, казалось, кивали ей своими красивыми, голубыми и бѣлыми, головками.

Пока онъ стоялъ у кассы, пока шелъ до двери, кутаясь въ полы шинели, она слѣдила за нимъ глазами, и когда онъ притворилъ за собою дверь— глаза ихъ снова встрѣтились и снова обмѣнялись нѣмыми взглядами. Надя пошла ближе къ окну и изъ-за широкихъ листьевъ филодендра видѣла, какъ онъ усѣлся въ сани, запахнулъ мохнатую полость, и красивая лошадь на тонкихъ ногахъ тронулась съ мѣста. Ихъ взгляды еще разъ встрѣтились, а потомъ и лошадь, и сани, и сѣдокъ скрылись за окномъ...

И теперь Надѣ кажется, что на нее все еще смотрятъ эти чудные глаза незнакомаго ей человѣка и улыбаются нѣжно и привѣтливо, и засматриваютъ въ ея душу. Вдругъ, какъ будто что-то припомнивъ, Надя ближе придвинулась къ зеркалу и ощупала на волосахъ цвѣтокъ... Она отдѣлила его отъ локона и близко поднесла къ лампѣ. Яркокрасный и пышный когда-то, онъ теперь былъ смятъ, а широкіе лепестки потемнѣли. Она съ тоской посмотрѣла на поблекшій цвѣтокъ, и въ ея душѣ заныло что то тревожное и тоскливое. Цвѣтокъ такъ много напоминалъ ей о томъ, что произошло въ магазинѣ, явившись нѣмымъ посредникомъ между нею и тѣмъ молодымъ офицеромъ, который говорилъ такъ тихо и вкрадчиво,

и улыбался, и искалъ ее своими горящими глазами... Надя еще разъ съ тоской посмотрѣла на поблекшіе лепестки, и сердце ея сжалось, мысли разсѣялись... Поблекшій цвѣтокъ напоминалъ ей о томъ, что было когда то, и что не вернется и не повторится, какъ не оживутъ эти помятые и поблекшіе лепестки...

Въ дверь въ комнату Нади постучалась мать и позвала дѣвушку ужинать... Она вздрогнула и осмотрѣлась... Она отворила дверь въ зальце... На столѣ горѣла лампа подъ зеленымъ абажуромъ, за столомъ сидѣлъ Коля... Въ кухнѣ пробили старинные часы, съ какимъ то страннымъ вздрагиваньемъ пружины и гуломъ, печальнымъ и тягучимъ...

* * *

На другой день, часовъ въ шесть вечера, когда магазинъ былъ залитъ электрическимъ свѣтомъ, у подъѣзда остановилась карета. Выѣздной лакей помогъ выйти изъ экипажа сѣдой дамѣ въ дорогой плюшевой шляпѣ и въ бархатной ротондѣ. Дама вошла въ магазинъ и, важно поднявъ лицо съ двойнымъ подбородкомъ, сообщила нѣмкѣ, что завтра ей потребуются цвѣты.

— Главное, столъ надо убрать, гдѣ будетъ закуска и фрукты... Понимаете... вазы... вазы наполнить цвѣтами...

Заподозривъ въ дамѣ солиднаго покупателя, нѣмка просіяла и съ удесятеренною любезностью старалась показать свой товаръ лицомъ. Дама, впрочемъ, мало интересовалась подборомъ цвѣтовъ, —ей нужны были цвѣты, а какіе — не все-ли равно.

Заказчица уѣхала, и нѣмка стала совѣщаться съ Надей, какъ выполнить заказъ. Она довѣряла дѣвушкѣ во всѣмъ и не сомнѣвалась, что Надя

сумѣетъ выбрать цвѣты, сумѣетъ и украсить ими столъ прилично для свадебнаго бала, о чемъ особенно важно сообщила богатая заказчица.

На слѣдующій день, часовъ въ одиннадцать утра, Надя уже была въ громадномъ вестибюлѣ дома, на одной изъ аристократическихъ улицъ. Дѣвушка поджидала, пока встанетъ госпожа, чтобъ приняться за работу. Около нея на диванчикѣ съ гнутой спинкой, на полу и на окнахъ стояли корзины и ящики съ цвѣтами.

Послѣ одиннадцати съ лѣстницы спустился старый лакей и сообщилъ дѣвушкѣ, что барыня встала, кушаетъ кофе и проситъ Надю отправиться съ своими корзинами наверхъ. Дѣвушка не разъ бывала въ такихъ же роскошныхъ домахъ, умѣло и безъ стѣсненія держалась на этихъ широкихъ лѣстницахъ съ пышными коврами, въ которыхъ утопаютъ ноги, и съ отполированными перилами, по которымъ такъ легко скользитъ рука.

Въ квадратной столовой, съ дубовымъ буфетомъ, съ рядами стульевъ вдоль стѣнъ и съ висячей люстрой надъ столомъ, за которымъ сидѣла дама въ бархатномъ капотѣ, — было сумрачно, но уютно. Надя только и успѣла разсмотрѣть кофейникъ на столѣ, большую чашку на блестящемъ подносѣ и сѣдые волосы на головѣ дамы.

— Вотъ пройдите сюда, налѣво... тамъ и столы и вазы готовы,—тихо проговорила хозяйка и повела рукою вправо. Надя неловко раскланялась съ нею и послѣдовала за лакеями.

Въ обширной комнатѣ, куда она вошла, въ одномъ углу длинные и узкіе столы съ бѣлыми скатертями были составлены покоемъ. На столахъ толпились вазы разныхъ величинъ и съ разнообразной окраской по расписнымъ бокамъ и какіе

то кубки съ вытянутыми горлышками. По четыремъ угламъ комнаты стояли высокія красивыя подставки, также съ вазами, а около оконъ возвышались пальмы, фикусы, филодендры и масса мелкихъ горшковъ съ разнообразными растеніями. Лакеи составили на паркетъ корзины и ящики и быстро вышли.

Надя осталась одна и осмотрѣлась. Отдѣлка стѣнъ съ дорогими картинами, рѣзьба потолковъ, съ которыхъ въ трехъ мѣстахъ спускались красивыя люстры, золоченая мебель, бархатные портьеры и все убранство показалось дѣвушкѣ дорогимъ и изящнымъ, главное—изящнымъ.

Свою работу Надя начала съ большой темной вазы, стѣнки которой были украшены инкрустаціей изъ бѣлыхъ лилій, искусно перевивавшихся съ низу до верху въ видѣ пышной гирлянды. Надя осмотрѣла эту красивую отдѣлку вазы и задумалась: ей представилось, что если эту вазу наполнить цвѣтами преимущественно свѣтлыхъ оттѣнковъ, они такъ красиво сочетаются съ темнымъ фономъ. Черезъ полчаса она уже выравнивала отдѣльные лепестки, вѣнчики склонившихся цвѣтовъ и яркую зелень, мохнатой бахромой отдѣлявшую бѣлое кольцо бутоновъ отъ темнаго фона стѣнокъ вазы. Въ эту минуту въ комнату вошла сѣдая дама. Молча постояла она около стола, разсматривая работу дѣвушки, и, наконецъ, тихо проговорила.

А это вы мило придумали! Это такое красивое сочетаніе!.. Какъ будто и гирлянды изъ живыхъ цвѣтовъ...— И она показала на инкрустаціи изъ фарфоровыхъ лилій.

Дама еще нѣсколько минутъ посмотрѣла на работу дѣвушки и вышла въ среднюю дверь. Черезъ полчаса она вернулась, но теперь была

уже одѣта въ темно-коричневое платье. Проходя мимо Нади, она какъ бы случайно выронила:

— Эту вазу мы и поставимъ около новобрачныхъ... Бѣлые цвѣты—чистые цвѣты!..

Она задумалась, обвела комнату тусклыми сѣрыми глазами, вздохнула и, прикалывая къ головѣ шляпку, добавила:

— Вамъ здѣсь никто не будетъ мѣшать, а если что нибудь понадобится поднять тяжелое — подавите вотъ тутъ кнопку, и къ вамъ придутъ...

Она махнула перчаткой куда то въ уголъ за портьеру и вышла. Надя отступила отъ стола на нѣсколько шаговъ и издали осмотрѣла темную вазу съ цвѣтами. Искусно составленный букетъ, дѣйствительно, такъ красиво сочетался съ темнымъ матовымъ цвѣтомъ вазы и бѣлоснѣжными лиліями. Ей припомнились слова сѣдой дамы, когда та говорила о какихъ то новобрачныхъ и о бѣлыхъ и чистыхъ цвѣтахъ, — и Надей овладѣло самодовольное чувство! Она узнала, что ваза съ этимъ красиво-составленнымъ букетомъ будетъ украшать столъ, и именно то мѣсто стола, гдѣ будутъ сидѣть виновники торжества и веселые и нарядные гости. И невольно она задалась вопросомъ — что они, эти новобрачные? Молоды-ли? Красивы-ли собою?.. Дальше представленія дѣвушки сплелись съ недавно вычитанными главами изъ одного переводнаго романа. Тамъ также была свадьба, гремѣла музыка, гости танцовали, а обширныя залы утопали въ зелени и цвѣтахъ. Только тамъ балъ описывался въ старинномъ замкѣ на берегу какого-то теплаго моря, гдѣ и звѣзды ярче, и небо темнѣе и ночь покойнѣе и поэтичнѣй!.. Здѣсь за окнами широкая улица столицы, по сторонамъ громадные многоэтажные дома, надъ ними — сѣрое угрюмое небо...

Это небо своимъ сумракомъ всегда сердитъ Надю, больше,—какъ будто засматриваетъ въ душу дѣвушки и заноситъ въ нее сумракъ и скуку, напоминая объ ея однообразной и скучной жизни въ ихъ крошечной квартиркѣ съ низкимъ потолкомъ и съ этимъ противнымъ зеленымъ абажуромъ, изъ подъ котораго по вечерамъ такъ тускло мигаетъ дешевая лампочка. И дѣвушкѣ представляется, что какая-то такая же дешевая лампочка, но не яркія звѣзды надъ темнымъ моремъ, озаряетъ и ея жизнь.

Надя старательнѣе занялась работой, чтобы отогнать отъ себя эти мрачныя мысли. Въ ея рукахъ были пучки зелени и цвѣтовъ, и она, вдыхая ихъ тонкій ароматъ, любовалась ими и съ любовью комбинировала изъ нихъ красивыя группы. Она бережно подняла со дна корзины красныя розы и, отдѣливъ отъ нихъ одну, самую большую и пышную,—принялась прикалывать цвѣтокъ къ волосамъ. Она подошла къ зеркалу въ одномъ изъ простѣнковъ и осмотрѣла себя съ ногъ до головы. На губахъ ея сложилась счастливая улыбка, и она пристально посмотрѣла на розу, застрявшую въ складкахъ темныхъ прядей волосъ. Она вспомнила его, молодого офицера, виновника ея какихъ-то неясныхъ, тревожныхъ и пріятныхъ ощущеній. Тогда, въ магазинѣ, онъ какъ-то особенно посмотрѣлъ на такой же цвѣтокъ, приколотый къ волосамъ, а потомъ перевелъ свой взглядъ на ея глаза—и они оба почему-то покраснѣли.

Думая о немъ, она и не замѣтила, что на днѣ двухъ корзинъ и ящика остались лишь облетѣвшіе лепестки, помятые или поблекшіе бутоны и обрывки зелени, а всѣ красивые цвѣты и шелковистая зелень заполняли вазы, оставалось только

разставить вазы вдоль стола и приступить къ уборкѣ вазъ по угламъ комнаты...

Надя любовалась своей работой, низко склонивъ голову къ одной изъ вазъ и изрѣдка пощелкивая ножницами. Вдругъ она смутилась, подняла голову и опустила руки. Тихо ступая по паркету и слегка позвякивая шпорами, къ ней подходилъ «онъ». Дѣвушка еще больше смутилась, встрѣтившись съ его взглядомъ, покраснѣла и не сразу отдала себѣ отчетъ, что это не сонъ, но что это подходитъ къ ней тотъ самый офицеръ, который былъ въ магазинѣ. На немъ былъ красиво сшитый сюртукъ съ погонами. Полныя щеки его красиваго лица были залиты румянцемъ и, снимая перчатку съ руки, онъ смотрѣлъ въ сторону дѣвушки широко раскрытыми, изумленными глазами, но Надѣ казалось, что въ этомъ взглядѣ есть также и то, что смутило ее когда-то и отчего сердце ея такъ сладко сжимается.

Онъ не сказалъ ни слова и также тихо прошелъ до конца комнаты и скрылся за массивной дубовой дверью. Дѣвушка посмотрѣла ему вслѣдъ, все еще не успѣвъ овладѣть собою. Что-то тревожное, жгучее и необычайное овладѣло ею, и она еще ближе прильнула къ вазѣ съ цвѣтами и еще сильнѣе забряцали въ ея рукѣ ножницы, которыми она подравнивала зеленую бахрому изъ тонкихъ листьевъ. Скоро онъ опять вышелъ въ залъ и молча прошелся до столовой. Немного спустя въ столовой послышался чей-то грубоватый голосъ, и Надя видѣла, какъ офицеръ махнулъ рукою и приказалъ кому-то уйти. Немного спустя онъ подошелъ къ столу, гдѣ работала дѣвушка, и тихо произнесъ:

— Можетъ быть, вамъ помочь?..

Надя въ смущеніи посмотрѣла на него и промолчала.

— Впрочемъ, у васъ почти все кончено, — добавилъ онъ, покосившись на пустыя корзины: — и такъ мило вышло!..

Онъ осмотрѣлъ всѣ вазы, осторожно дотрагиваясь рукою до цвѣтовъ и остановившись по другую сторону стола, слегка перегнулъ свою тонкую талію, оперся рукою въ край стола и сталъ пристально разсматривать лицо, руки, шею и голову дѣвушки. Надя трепетала подъ вліяніемъ этихъ безцеремонныхъ взглядовъ и боялась поднять глаза, полные какого то страннаго смущенія. Руки ея дрожали, и она звяканьемъ ножницъ старалась заглушить свою внутреннюю тревогу.

— Посмотрите, вы такъ увлеклись своей работой, что не замѣтили и срѣзали такой дивный цвѣтокъ, говорилъ онъ, поднимая со стола только что упавшій тюльпанъ.

— Его надо было убрать! —тихо рѣшилась вымолвить дѣвушка и еще больше смутилась, какъ бы подтвердивъ своими словами собственную оплошность.

— Не надо давать большой власти такимъ красивымъ пальчикамъ! — проговорилъ офицеръ, улыбаясь, и протянулъ руку къ тому мѣсту зеленѣющей бахромы, гдѣ пальчики Нади, вооруженныя ножницами, подрѣзывали какіе то комочки и корешки.

— Не надо давать власти и языку! — вдругъ неожиданно для себя вымолвила дѣвушка и смущенно смолкла. Ей вдругъ захотѣлось быть смѣлой, прямо и безъ смущенія смотрѣть въ дерзкіе и лукавые глаза молодого человѣка, чтобы подъ этой развязностью и даже дерзостью скрыть тревогу и смущеніе. Но этимъ она только подзадо-

рила молодого человѣка, развязавъ ему языкъ и разбудивъ въ немъ смутныя желанія. Онъ еще ниже склонялся къ столу, съ полузакрытыми глазами протягивалъ къ Надѣ руки, потомъ глаза его раскрывались и онъ съ дерзкой усмѣшкой на губахъ разсматривалъ тонкія руки дѣвушки, ея пылающія отъ смущенія щеки и опущенныя рѣсницы.

Онъ вспомнилъ о томъ, какъ въ первый разъ встрѣтилъ ее въ магазинѣ, и тогда на ея волосахъ была приколота такая же яркая роза, какъ потомъ онъ уѣхалъ и долго весь вечеръ и цѣлый слѣдующій день думалъ объ этомъ цвѣткѣ. Разсказалъ онъ и о томъ, какъ часъ тому назадъ, сгорая отъ нетерпѣнія увидѣться съ нею, онъ заѣхалъ въ ихъ магазинъ, купилъ ненужный ему букетъ цвѣтовъ и ушелъ разочарованнымъ. Понизивъ голосъ до тихихъ вкрадчивыхъ нотокъ, онъ говорилъ ей о томъ, какъ изумленъ былъ, встрѣтивъ ее здѣсь, за этимъ столомъ, среди цвѣтовъ, съ краснымъ цвѣткомъ на пышныхъ локонахъ...

— Вы знаете,—продолжалъ онъ,—за всю свою короткую жизнь цвѣты только разъ разцвѣтаютъ! И въ душѣ есть такія же чувства, тонкія и неуловимыя!,.. Они также только разъ разцвѣтаютъ, а потомъ будничныя, сѣрыя чувства смѣняютъ ихъ, и душа увядаетъ... И вы хотите омрачить эти дорогія минуты! Вы такъ сурово смотрите на меня! — бормоталъ онъ...

Дѣвушка слушала его и ничего не понимала, и только послѣдняя фраза молодого человѣка еще больше смутила ее.

Онъ смолкъ и поднялъ глаза. Онъ видѣлъ, какъ съ лица дѣвушки сбѣжало суровое выраженіе, она улыбнулась, взглянула на него, вспыхнула и разомъ поблѣднѣла. Она опустила рѣс-

ницы. Онъ нѣжно взялъ ее за руки и потянулъ къ себѣ черезъ столъ. Она выпрямилась и вскрикнула... Онъ былъ уже около нея. Онъ нѣжно обнималъ ее за талію, цѣловалъ ея, снова вспыхнувшія щеки, горящими губами припадалъ къ ея трепетнымъ губамъ и ловилъ взглядъ ея темныхъ лучистыхъ глазъ... Голова ея опустилась, руки похолодѣли. Онъ двинулся вправо къ двери, и она подалась за нимъ, слабая, трепещущая и опьяненная ароматомъ цвѣтовъ и его горячими поцѣлуями...

Утромъ блѣдный свѣтъ едва пробивался сквозь тюлевыя занавѣски, и въ обширной залѣ съ золочеными стульями было пустынно и неуютно. На столахъ стояли вазы съ цвѣтами, тутъ же на бѣлой, но теперь помятой и залитой виномъ, скатерти стояли тарелки съ объѣдками, запачканные вилки и ножи, и бокалы, и рюмки съ недопитымъ виномъ. Въ воздухѣ носился какой-то смрадъ, затхлый и удушливый.

Вчера здѣсь было много гостей, вчера здѣсь много говорили, смѣялись, пили и ѣли... Въ сосѣдней комнатѣ гремѣла музыка и тамъ долго и много танцовали. По паркету кружились красивые и нарядно одѣтые кавалеры и дамы, въ нестройный хоръ мѣшались возгласы, говоръ и смѣхъ, и бряцанье шпоръ...

Здѣсь, въ этой обширной комнатѣ, собирались усталые, запыхавшіеся и потные танцоры, утоляли жаръ прохладительными напитками, заѣдали веселую рѣчь вкусными фруктами, пили вино, говорили тосты и снова пили, и слышался звонъ хрусталя!..

Въ третьемъ часу сѣли ужинать. «Онъ» сидѣлъ около темной вазы съ бѣлыми чистыми цвѣтами.

Рядомъ съ нимъ сидѣла блондинка, съ пышными бѣлокурыми локонами волосъ, въ которыя были вплетены цвѣты, гирлянды цвѣтовъ украшали и ея полуобнаженную грудь и нарядное платье. Они оба были веселы, не успѣвали отвѣчать на привѣтствія гостей, не успѣвали имъ улыбаться... Когда ихъ, виновниковъ торжества, оставляли въ покоѣ, онъ отдавался самому себѣ, вспоминалъ то, что произошло въ этой комнатѣ сегодня днемъ,— и сердце его билось тревожнѣе, и въ вазахъ съ цвѣтами онъ искалъ красный цвѣтокъ... Онъ посмотрѣлъ на свою сосѣдку и только теперь, казалось, разсмотрѣлъ ее. Впрочемъ, онъ зналъ и раньше, что она не такъ интересна, какъ теперь, когда, при яркомъ освѣщеніи въ атмосферѣ праздника, среди нарядныхъ туалетовъ и уродъ кажется красивымъ. Любилъ ли онъ ее? И на этотъ вопросъ онъ затруднился бы отвѣтить. Онъ часто встрѣчался съ нею въ обществѣ, видѣлъ, что ее, богатую и знатную, сопровождаетъ постоянное вниманіе его товарищей, родныхъ и многочисленныхъ знакомыхъ. Многіе почему-то считали, что быть ея мужемъ — особая честь и слава, и онъ видѣлъ, что многіе изъ его сверстниковъ идутъ на встрѣчу этому счастью. Случилось такъ, что онъ вышелъ побѣдителемъ, но эта не была побѣда сердца,—это была побѣда разсудка, чему больше другихъ радовались его мать и старый дядюшка.

И вотъ, вся комедія кончена, они связаны. Ихъ вдвоемъ всѣ теперь только и замѣчаютъ, ихъ даже посадили рядомъ! «Какое мѣщанство!» подумалъ онъ и посмотрѣлъ на мать и на дядю, который, принявъ близкое участіе въ торжествѣ, непремѣннымъ условіемъ поставилъ, чтобы весь церемоніалъ свадьбы продѣлался по обычаямъ старины. И ему порою казалось, что все сдѣла-

лось такъ, какъ хотѣли и этотъ почтенный заслуженный дядюшка и мать: захотѣли они — и ему понравилась она, теперь его молодая жена, и были минуты, когда онъ увѣрялъ себя, что полюбилъ ее, даже больше — любитъ ее давно... Но вотъ гости разъѣхались, и они остались вдвоемъ, и ему показалось, что только въ этотъ моментъ онъ и разгадалъ загадку, какую задала ему судьба.

Утромъ онъ проснулся рано съ какой-то тупой болью въ головѣ. Въ спальнѣ стоялъ сумракъ, благодаря тяжелымъ портьерамъ на окнахъ, какъ въ склепѣ было темно и душно и подъ штофнымъ балдахиномъ надъ ихъ постелью... Въ сумракѣ онъ разсмотрѣлъ «ея» тонкую фигуру подъ атласнымъ одѣяломъ: голова ея, все еще украшенная цвѣтами, была закинута за край подушки, одна рука была вытянута вдоль бедра, а другой она какъ будто старалась схватить что-то. Онъ словно испугался этого жеста, отошелъ отъ постели и накинулъ на себя халатъ.

Въ кабинетѣ, куда онъ вышелъ, было свѣтло. Онъ закурилъ сигару и хотѣлъ было опуститься на оттоманку, но потомъ быстро перемѣнилъ свое рѣшеніе. Онъ точно съ испугомъ посмотрѣлъ на эту оттоманку, гдѣ теперь лежалъ лифъ роскошнаго вѣнчальнаго платья жены, вспомнилъ, что это онъ вчера положилъ его здѣсь, когда они были вдвоемъ... Въ памяти всплывали подробности ихъ перваго свиданія наединѣ, но онъ словно старался отогнать эти воспоминанія, и въ этомъ помогала та же память.

Ему припоминалась ихъ большая гостинная, озаренная дневнымъ свѣтомъ, въ углу бѣлѣли подъ скатертями столы, составленные *покоемъ*, на нихъ вазы съ цвѣтами; припоминалась ему и Надя

съ красной розой въ прядяхъ волосъ... Потомъ она такъ безпомощно склонилась ему на плечо, и онъ цѣловалъ ее, а она отвѣчала жгучими поцѣлуями...

Онъ вышелъ въ гостинную и осмотрѣлся. Неуютной показалась она ему въ полумракѣ, неприбранная и съ тяжелымъ удушливымъ воздухомъ. Онъ прошелъ мимо столовъ, беззвучно ступая мягкими туфлями, подошелъ къ одному изъ оконъ и, откинувъ тяжелую драпировку, опустился въ кресло. Тюлевая занавѣсъ застилала отъ него свѣтъ дня, и онъ съ сердцемъ отдернулъ ее въ сторону.

Полоса свѣта, немного ярче общаго фона, лежавшаго на полу и на обстановкѣ комнаты, вползла въ окно и упала на столъ съ вазами, гдѣ все еще пестрѣли цвѣты... Ночью здѣсь такъ много было людей; они говорили, смѣялись, поглотили весь чистый воздухъ, и, разъѣхавшись по домамъ, развезли съ собою запахъ цвѣтовъ—и они увяли и склонили красивыя головки...

Онъ посмотрѣлъ на цвѣты. Поблекшіе, при скудномъ свѣтѣ сумрачнаго дня, они перестали казаться ему красивыми, и онъ отвернулся и посмотрѣлъ въ окно. Прямо виднѣлись ряды оконъ домовъ на противоположной сторонѣ улицы, надъ кровлями висѣло туманное хмурое небо...

ОКОЛО БАРИНА.

(Разсказъ).

I.

Раньше всѣхъ въ домѣ вставали, обыкновенно, денщики Ткаченко и Звонаревъ, рядовые ....скаго кавалерійскаго полка. Помѣщались они въ небольшой темной конуркѣ, которая когда-то спеціально была устроена для прислуги. Нанимая квартиру, полковникъ Звѣринцевъ поставилъ хозяину дома непремѣнное условіе, чтобы часть громадной кухни въ три окна отдѣлить досчатой перегородкой. Искусные плотники сдѣлали перегородку, доходившую до потолка, прорубили въ ней узкій продолговатый четыреугольникъ и вставили въ него раму съ матовымъ стекломъ. Въ этой полутемной и узкой конуркѣ стояли двѣ желѣзныя койки, небольшой столикъ и сундуки, принадлежавшіе денщикамъ. Тутъ-же у стѣны, составленные другъ на друга, стояли пустые господскіе корзины и чемоданы, а на стѣнѣ висѣла маленькая дѣтская ванна, въ которой уже давно перестали купать полковницкаго сына, умершаго года два тому назадъ.

Рядомъ, въ кухнѣ, за ситцевымъ пологомъ стояла кровать Ѳедоры, кухарки за повара, бабы лѣтъ пятидесяти, рябой, ворчливой и своенравной. Между нею и денщиками возникали постоянныя недора-

зумѣнія. Баба третировала солдатъ на каждомъ шагу, называла ихъ «деревенщиной», а себя «благородной кухаркой» и изрѣдка наговаривала на нихъ барынѣ разныя небылицы. А такъ какъ барыня любила кухарку, видимо, цѣня въ ней кулинарныя способности, то солдаты не на шутку побаивались Ѳедоры, покорно исполняли ея приказанія, по вечерамъ бѣгали въ винную лавку за «мерзавчиками», а потомъ, когда кухарка опоражнивала крошечныя бутылочки, выслушивали ея безконечное ворчанье и даже обидную брань. Больше всего доставалось Ткаченкѣ, такъ какъ ему чаще Звонарева приходилось сталкиваться съ ворчливой бабой.

Свои обязанности денщики выполняли по точному правилу раздѣленія труда. Высокій, стройный и красивый Звонаревъ жилъ въ качествѣ лакея. Во время завтрака, вечерняго чая и обѣда онъ накрывалъ столъ, подавалъ самоваръ или кушанья, бѣгалъ по звонку отпирать на подъѣздъ дверь, по утрамъ убиралъ комнаты и вмѣстѣ съ тѣмъ исполнялъ разныя порученія барина и барыни. Коренастый, сильный, но менѣе поворотливый Ткаченко считался «кухоннымъ мужикомъ» и состоялъ при Ѳедорѣ. На его обязанности лежала вся черная кухонная работа, которую онъ обязанъ былъ кончать по утрамъ или вечерамъ, когда спитъ отецъ полковника Звѣринцева, отставной капитанъ Тихонъ Александровичъ.

Отставной капитанъ былъ старикъ шестидесяти семи лѣтъ. Крѣпко сложенный, плечистый, но лысый и сѣдой, съ худымъ морщинистымъ лицомъ, трясущимися руками, онъ десять лѣтъ тому назадъ лишился ногъ, и съ тѣхъ поръ богатырскій организмъ его борется со смертью. Его, лишившагося способности передвиженія, усадили въ кресло-коляску, приставили къ нему неизмѣннаго слугу

денщика, и при этихъ условіяхъ догорала безполезная и никому не нужная жизнь. Больной, нервный и страшно раздражительный старикъ отравлялъ существованіе близкихъ—сына и его жены, заѣдалъ жизнь чужихъ здоровыхъ людей, которые покорно служили ему, и небо медлило разрѣшить эту задачу — недоразумѣніе. Въ тайнѣ другъ отъ друга и отъ постороннихъ и сынъ и невѣстка просили небо ускорить свое рѣшеніе; Ткаченко и Звонаревъ, напротивъ, часто бесѣдовали между собою на эту тему и ждали, скоро-ли умретъ больной старый баринъ. Особенно Ткаченко интересовался этимъ вопросомъ. Онъ согласился-бы удесятерить работу на кухнѣ, взялся бы за какой угодно трудъ, лишь-бы только не быть около больного барина, лишь-бы только не нести этой каторжной жизни, отъ которой онъ уставалъ и душою и тѣломъ.

Съ восьми часовъ утра начиналась эта скучная, однообразная жизнь, и такъ весь день до поздняго вечера. Иногда и ночью, заслыша звонокъ спросонья, онъ какъ сумасшедшій срывался съ койки, на-скоро одѣвался и спѣшилъ въ маленькую, душную и скучную комнату, гдѣ теплилась, не потухая, безсмысленная жизнь калѣки...

Убравшись по кухнѣ, стряхнувъ съ мундира пыль и чисто на-чисто вымывъ руки, Ткаченко уходилъ въ свою полутемную комнатку, усаживался на кровати и ждалъ, когда задребезжитъ звонокъ надъ его головою. Въ эти скучныя минуты ожиданія уже никто не смѣлъ безпокоить солдата, или отвлекать его какой-нибудь работой, потому что опоздать на зовъ больного барина—значило подвести всѣхъ живущихъ въ домѣ, не исключая и полковника съ женою.

Заслышавъ звонокъ, Ткаченко бѣжалъ на зовъ, стараясь держаться на носкахъ, такъ какъ по

корридору ему приходилось проходить мимо спальни, гдѣ почивали полковникъ съ полковницей.

Ежедневно и аккуратно около восьми часовъ утра Тихонъ Александровичъ просыпался; не поднимаясь съ постели, протягивалъ свою худую, желтую, поросшую волосами руку къ кнопкѣ электрическаго звонка, и суровые, еще заспанные глаза вперялъ въ дверь. Беззвучно появляясь въ комнатѣ, Ткаченко подходилъ къ постели барина, бралъ въ руки графинъ съ водою, которая запасалась, обыкновенно, съ вечера, и, наливъ стаканъ, подавалъ барину. Пока капитанъ, вѣрный своимъ привычкамъ, пилъ воду, Ткаченко долженъ былъ поднять на окнахъ сторы, слегка пріотворить форточку и подкатить къ постели громадное, тяжелое кресло, утвержденное на крѣпкихъ желѣзныхъ осяхъ и на трехъ колесикахъ.

Выпивъ воду, капитанъ умывался при помощи денщика, утиралъ лицо, шею и руки грубымъ полотенцемъ, потомъ молился, размашисто крестясь и шепча молитвы, и одѣвался. Послѣ этого Ткаченко приподнималъ съ постели барина и усаживалъ его въ кресло-коляску, закутывая ноги темно-коричневымъ плюшевымъ пледомъ. Если капитанъ просыпался, что называется, въ хорошемъ расположеніи духа—все это продѣлывалось въ глубокомъ молчаніи. Слышалось только тяжелое и свистящее дыханіе барина, да сопѣнье Ткаченки. Послѣ же тяжелыхъ и непріятныхъ сновидѣній, или вслѣдствіе какихъ-либо другихъ неблагопріятныхъ и невѣдомыхъ причинъ, капитанъ просыпался сердитымъ, — какъ бы скоро ни явился къ нему Ткаченко, первой фразой его при видѣ солдата было:

— Оселъ! скотина!.. Звонишь, звонишь... Что ты тамъ съ кухарками все да съ горничными возишься? или дрыхнешь?

Не признавая за собою вины, Ткаченко обижался на такое вступленіе, но, вѣрный требованіямъ дисциплины, молчалъ. Иногда и Ткаченко просыпался, видимо, послѣ непріятныхъ сновидѣній или такъ почему-либо былъ раздраженъ, и тогда, выслушивая напрасныя нападки барина, не въ силахъ былъ сдержать накопившуюся злобу и сухо отвѣчалъ: «Никакъ нѣтъ».

— Что «никакъ нѣтъ»?.. Что?.. Молчать!—кричалъ баринъ.—Сбрось съ меня одѣяло! Да тише ты!.. Тише хватай своими лапищами-то—еще громче кричалъ капитанъ.

Ткаченко осторожно стаскивалъ съ барина одѣяло, стараясь не встрѣчаться съ его злыми глазами и отстраняя собственный носъ отъ лица Тихона Александровича, такъ какъ изо рта калѣки-человѣка отвратительно пахло.

— Болванъ... «Никакъ нѣтъ»,—ворчалъ между тѣмъ баринъ, вытягивая руки и стараясь продѣть ихъ въ рукава сюртука.—Какъ сегодня на дворѣ? —уже другимъ тономъ спрашивалъ капитанъ.

— Хмарно, ваше высокоблагородіе.

— Холодно?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе.

Капитанъ усаживается въ кресло, а Ткаченко подкатываетъ коляску къ окну, причемъ колесики немилосердно скрипятъ.

Благодаря этому скрипу, у Ткаченки была большая непріятность въ первый же день появленія его у полковника Звѣринцева въ качествѣ постоянной прислуги. Немощный и раздражительный Тихонъ Александровичъ, какъ больное дитя, былъ до-нельзя капризенъ, щепетиленъ относительно своихъ привычекъ и до самозабвенія выходилъ изъ себя, если что-нибудь дѣлалось не такъ, какъ онъ любилъ. Капитану нравилось, что

колесики его подвижного кресла скрипятъ: это былъ капризъ его больной души, схимницы больного тѣла. Ткаченкѣ, напротивъ, не понравился скрипъ и визгъ колесиковъ, и вечеромъ перваго же дня, уложивши барина спать, онъ отвинтилъ гайки и смазалъ оси саломъ. Дѣлая это, онъ въ тайнѣ думалъ даже угодить барину, который по первому впечатлѣнію показался ему сердитымъ, но вышло наоборотъ.

Утромъ, когда Ткаченко катилъ коляску съ бариномъ въ столовую къ завтраку, капитанъ замѣтилъ, что колесики не скрипятъ, и что было мочи крикнулъ:

— Стой!.. Это что такое? что это?..

Расширивъ недоумѣвающіе глаза, Ткаченко взглянулъ на барина и испугался его позеленѣвшаго лица и злыхъ глазъ.

— Что это? спрашиваю я тебя... Отчего колеса перестали скрипѣть?

— Я... ваше высокоблагородіе... саломъ ихъ смазалъ... — робко отвѣтилъ денщикъ, и лицо его потемнѣло.

— Мерзавецъ! Какъ ты смѣлъ? Кто тебѣ приказалъ? — неистово кричалъ капитанъ, даже приподнявшись въ креслѣ на руки.

На крикъ изъ столовой прибѣжали полковникъ съ полковницей.

— Папа! Богъ съ тобой, успокойся! Тебѣ вредно,—успокаивая отца, говорилъ полковникъ.

— Успокойтесь, Тихонъ Александровичъ, вамъ вредно,—вторила полковница.

— Какъ онъ смѣлъ? Кто ему приказалъ?—неунимался капитанъ.

— Кто тебѣ приказалъ сдѣлать это? болванъ! — набросился на Ткаченку и полковникъ и сильно ткнулъ кулакомъ въ солдатскую грудь. Растеряв-

шійся солдатъ подался назадъ отъ неожиданнаго толчка и со слезами на глазахъ посматривалъ то на полковника, то на капитана. Все время завтрака господа ворчали на денщика, который стоялъ около двери.

Когда завтракъ былъ конченъ, Ткаченко перевезъ барина въ его комнату. Тихонъ Александровичъ все время косился на денщика и нервничалъ. Когда Ткаченко поставилъ коляску около окна и вернулся къ двери, чтобы притворить ее, капитанъ громко крикнулъ:

— Поди сюда!

Ткаченко вытянулся передъ капитаномъ и стоялъ, глядя на него все еще испуганными глазами.

— Подойди сюда ближе!

Ткаченко подошелъ.

— Наклонись, болванъ.

Ткаченко наклонился.

— Вотъ тебѣ! Вотъ!—и капитанъ два раза съ размаху ударилъ денщика по щекѣ и добавилъ:— впередъ помни и не дѣлай того, чего тебѣ не приказываютъ! Пошелъ!

Ткаченко выпрямился, повернулся налѣво кругомъ и вышелъ изъ комнаты. На глазахъ его сверкали слезы обиды. Послѣ этого случая Ткаченкой овладѣвалъ какой-то паническій ужасъ при видѣ капитана. Слушая его брань, онъ каждую секунду ждалъ новыхъ пощечинъ, и старался предупредить его малѣйшія желанія. Больше онъ сталъ бояться и полковника съ женою. Казалось, изъ солдата разомъ выбили самолюбіе и чувство человѣческаго достоинства. Онъ сталъ рабомъ послушнымъ и покорнымъ, не разсуждающимъ, робко лепечущимъ странныя односложныя фразы: «никакъ нѣтъ» и «такъ точно». Кромѣ этихъ отвѣтовъ, отъ него требовали еще рабьей покорности

и исполнительности, и Ткаченко безропотно исполнялъ безчисленныя и разнообразныя приказанія.

II.

Въ первомъ часу у полковника Звѣринцева завтракали. Къ этому времени въ большой квадратной комнатѣ съ темными обоями и съ двумя широкими окнами, выходившими въ палисадникъ, появлялся Звонаревъ. Онъ разставлялъ по столу приборы, гремѣлъ вилками и ножами и хлопалъ дверцами дубоваго буфета. На лязгъ ножей и вилокъ и на стукъ тарелокъ въ столовой первымъ отзывался капитанъ и принимался торопить денщика. Долго ожидая прихода къ столу сына и невѣстки, онъ начиналъ раздражаться, стучалъ ножемъ по тарелкѣ и громко выражалъ свое неудовольствіе. Ѣлъ онъ страшно много и съ какимъ-то животнымъ увлеченіемъ; лицо его надувалось и краснѣло, глаза съ хищнымъ выраженіемъ перебѣгали по столу съ предмета на предметъ.

Въ концѣ завтрака по звонку въ столовую вызывался Ткачено. Въ это время Тихонъ Александровичъ, обыкновенно, пережевывалъ послѣдній кусокъ бифштекса, облизывалъ языкомъ губы и утиралъ ихъ салфеткой. Ткаченко долженъ былъ снять съ шеи барина салфетку, стряхнуть крошки хлѣба съ сюртука и съ пледа, а потомъ барыня вручала ему чашку кофе, которую тотъ долженъ былъ отнести въ комнату капитана, такъ какъ кофе старикъ любилъ пить у себя.

Послѣ завтрака Тихонъ Александровичъ любилъ сидѣть у окна съ газетою въ рукахъ. Ткаченко долженъ былъ знать всѣ привычки барина, а потому, какъ только тотъ кончалъ пить кофе,

онъ вручалъ ему туго набитую табакомъ трубку съ длиннымъ чубукомъ. Пока Тихонъ Александровичъ читалъ и курилъ, Ткаченко долженъ былъ находиться тутъ-же, у двери. Потухнетъ трубка барина — Ткаченко долженъ тотчасъ-же зажечь ее, отойти къ двери и снова ждать приказаній.

Тихонъ Александровичъ выкуривалъ двѣ трубки въ день—утромъ и вечеромъ—и каждый разъ денщикъ долженъ былъ выстаивать у двери въ ожиданіи потребности въ спичкѣ. Изъ всего своего скучнаго и однообразнаго дня больше всего Ткаченко не любилъ этого времени. Ему приходилось стоять у двери на вытяжку и безсмысленно переводить глаза съ барина на окно, съ окна опять на барина. Иногда онъ пристально всматривался въ какія-то непонятныя ему картины, висѣвшія на стѣнѣ, размышлялъ о томъ, что должно изображать нарисованное, и скоро еще больше уставалъ за этимъ занятіемъ.

Иногда Тихонъ Александровичъ, видимо, утомившись при чтеніи, опуститъ на колѣно трясущуюся руку съ газетой, отклонитъ немного голову назадъ и уставится глазами въ окно, и тихо и долго сидитъ такъ. Въ комнатѣ слышится попыхиваніе трубки, да тяжелое дыханіе денщика.

— Ткаченко—кричитъ баринъ и отбрасываетъ газету въ сторону.

Денщикъ уже знаетъ, что значитъ этотъ окрикъ, и спѣшно примется собирать барина на прогулку. Выбравшись на подъѣздъ, Ткаченко тихо и плавно спуститъ коляску съ трехъ ступеней крыльца, поправитъ пледъ, окутывающій ноги барина, и покатитъ коляску къ воротамъ.

Ворота и главный фасадъ дома, гдѣ жилъ Тихонъ Александровичъ, выходили на бульваръ, окай-

мленный старыми липами и ясенемъ въ два ряда. Между рядами деревьевъ проложена широкая, выложенная булыжникомъ, мостовая. Въ продолженіе дня Ткаченко обыкновенно раза три прокатываетъ коляску по бульвару отъ одного конца до другого. Иногда баринъ и солдатъ останавливаются около какой-нибудь лавочки или въ тѣни деревьевъ, отдыхаютъ, наблюдаютъ пѣшеходовъ.

Гулять по бульвару съ бариномъ Ткаченко предпочиталъ скучному томленью въ душной комнатѣ, въ которой — казалось солдатику, — пахло мертвечиной отъ омертвѣлыхъ ногъ барина. Днемъ на бульварѣ было шумно. По мостовой взадъ и впередъ мчались экипажи, по панелямъ сновали пѣшеходы. Почти цѣлый день на бульварѣ толпились шумныя и веселыя дѣти въ сопровожденіи нянекъ и барынь въ темненькихъ платьяхъ и въ скромныхъ шляпкахъ. Направо и налѣво тянулись два ряда деревьевъ, а прямо, за узкой и грязной канавой, открывался видъ на городской питомникъ, засаженный густо разросшимися высокими и тонкими кленами, березами и липками. Эта чаща деревъ напоминала Ткаченкѣ небольшіе перелѣски на ихъ родимой и далекой Украинѣ отчего онъ и любилъ по-долгу засматриваться въ зеленѣющую чащу питомника.

III.

Любимымъ мѣстомъ ихъ прогулки былъ также большой тѣнистый скверъ, разбитый вокругъ церкви съ высокой бѣлой колокольней. Посѣщать этотъ садъ Ткаченко любилъ еще больше, нежели бульваръ.

Широкія и глухія дорожки сквера были разбиты причудливымъ узоромъ, часто пересѣкаясь

одна съ другою, или излучиваясь змѣею, или неожиданно превращаясь въ полукругъ. По сторонамъ дорожекъ растутъ громадные березы, вязы и клены. Крѣпкіе частые сучья деревьевъ переплетаются надъ головою, густая зелень листвы прячетъ отъ глазъ голубое небо. Въ солнечные дни на дорожки падаютъ блестящіе и яркіе просвѣты; въ скучные часы хмураго дня подъ навѣсомъ деревьевъ полумракъ.

Подкативъ коляску съ бариномъ къ громаднымъ чугуннымъ воротамъ сквера, Ткаченко останавливается. Тихонъ Александровичъ снимаетъ съ головы форменную офицерскую фуражку съ краснымъ околышемъ и начинаетъ креститься, повернувъ лицо направо, къ церкви; Ткаченко также крестится.

Денщику было вмѣнено въ обязанность возить барина въ саду быстрѣе, потому что Тихону Александровичу нравилась быстрая ѣзда; морщины на его лицѣ разглаживались, когда мимо мелькали деревья, люди, и когда отъ быстрой ѣзды захватывало духъ. Ткаченко, напротивъ, не любилъ быстрой ѣзды, потому что скоро нагрѣвался, потѣлъ и уставалъ, запыхавшись. На встрѣчу на дорожкахъ сквера часто попадались прохожіе, и тѣ изъ нихъ, которые не въ первый разъ встрѣчали «военнаго барина» въ колясочкѣ и здороваго солдата,— тѣ какъ-то не обращали вниманія на капитана, напротивъ, новички, видя въ этой прогулкѣ что-то необычное, останавливались и съ соболѣзнованіемъ на лицѣ разсматривали больного, что капитану страшно не нравилось. Миновавъ такого нескромно любопытствующаго, онъ про себя ворчалъ:

— Что глаза-то выпучили? Экая невидаль! Дур-раки!

Однажды какъ-то онъ даже вслухъ выругалъ одну бабу, которая несла на плечѣ какую-то громадную бутыль съ темной жидкостью и, увидя человѣка-калѣку, остановилась, опустила на землю свою ношу и съ тревожнымъ выраженіемъ въ глазахъ и даже съ печалью на лицѣ повернулась къ барину.

— Ну, что смотришь-то? Что тебѣ надо? Дура!..—не выдержалъ и выругался капитанъ.

Баба съ изумленіемъ посмотрѣла на барина и поспѣшила уйти.

— Стой тутъ! — командуетъ Тихонъ Александровичъ,—дай газету!

Денщикъ достаетъ изъ-за спины барина газету. Старикъ принимается читать.

Разъ какъ-то въ скверѣ разыгралась пренепріятная исторія. Это было на послѣднихъ дняхъ Пасхи. Послѣ полудня солнце высоко стояло въ небѣ, чистомъ и прозрачномъ, голубомъ и глубокомъ. Въ кустахъ чирикали птички. На высокой колокольнѣ храма заливались колокола.

Ткаченко катилъ колясочку по крайней аллеѣ, отдѣленной отъ улицы высокой чугунной рѣшеткой, за которой были проложены рельсы конки. Вдали на аллеѣ показалась какая то „парочка“, какъ голубки, воркующая на солнечномъ припекѣ. Когда парочка придвинулась ближе, Ткаченко разсмотрѣлъ высокаго и стройнаго солдата, въ лакированныхъ сапогахъ и въ новомъ мундирѣ, поверхъ котораго была наброшена на плечи солдатская форменная шинель. Солдатъ шелъ подъ руку съ темноволосой смазливой дѣвушкой, въ свѣтлой шляпкѣ на высокой прическѣ и въ короткомъ темно-синемъ жакетѣ, облегавшемъ ея тонкую стройную талію. Опираясь на руку кавалера, дѣвушка засматривала въ его красивые

темные глаза и улыбалась ясной и счастливой улыбкой; кавалеръ тихо говорилъ что-то, повидимому, нѣжное, и влюбленные не замѣчали, что дѣлается вокругъ.

— Стой! солдатъ! стой!.. — вдругъ крикнулъ капитанъ.

Ткаченко, думая, что окрикъ относится къ нему, разомъ остановился.

— Поди сюда!.. эй ты!.. — продолжалъ капитанъ, съѣдая злобными глазами солдата съ барышней.

Солдатъ немного смутился, выпустилъ руку дѣвушки, передалъ ей зонтикъ, которымъ до того безпечно помахивалъ въ воздухѣ и, дѣлая подъ козырекъ, подошелъ къ барину.

— Ты что-же это офицеру честь не отдаешь?

— Виноватъ, ваше высокоблагородіе...

— Кто ты такой?

— Старшій писарь главнаго штаба, ваше высокоблагородіе.

— Что-жъ, что писарь! Тебѣ и честь не надо отдавать?

— Никакъ нѣтъ!

— Надѣлъ лакированные-то сапоги... франтъ! П—шелъ!..

Писарь повернулся налѣво кругомъ и поспѣшилъ къ своей дамѣ. Во время этой сцены дѣвушка стояла смущенная; съ опечаленнымъ лицомъ встрѣтила она своего кавалера и что-то проговорила ему.

Ткаченко язвительно улыбнулся въ сторону писаря: ему понравилось, что баринъ пробралъ «франта», хотя въ то-же время онъ подумалъ: «вотъ-то собака!»

Послѣ всякихъ непріятныхъ сценъ и встрѣчъ Тихонъ Александровичъ обыкновенно углублялся

въ чтеніе. Въ этотъ разъ онъ также спросилъ у Ткаченки газету.

— Подвези вонъ къ той лавочкѣ, гдѣ солнышко свѣтитъ, — скомандовалъ онъ, указывая впередъ на скамью, залитую лучами солнца.

Поставивъ коляску такъ, чтобы тѣнь отъ головы барина падала на газету, Ткаченко немного отошелъ въ сторону и усѣлся на концѣ скамьи. Въ саду Тихонъ Александровичъ становился какъ будто добрѣе и позволялъ денщику сидѣть въ своемъ присутствіи, чѣмъ тотъ, разумѣется, съ радостью пользовался. Онъ любилъ сидѣть въ саду, хотя и вблизи барина: здѣсь дышалось привольнѣй и чувствовалось свободнѣй. Пока баринъ, углубившійся въ газету, забывалъ о его существованіи, онъ предавался своимъ думамъ, или разсматривалъ прохожихъ, или по-долгу сидѣлъ съ приподнятымъ лицомъ и смотрѣлъ въ небо. Если по небу тянулись облака — онъ слѣдилъ за ихъ движеніемъ, если оно было ясно и безоблачно, думалъ: какъ далеко оно!.. Иногда онъ опуститъ усталую голову и, мелькомъ скользнувъ взглядомъ по барину, повернетъ глаза въ ту сторону,— гдѣ—по его предположенію — должна быть далекая родная Украина.

Года два тому назадъ, шагая съ котомкой за плечами въ толпѣ молодыхъ солдатъ, онъ былъ поглощенъ новыми чувствами и представленіями. Когда шли до манежа, гдѣ разбиваютъ по полкамъ вновь прибывшихъ рекрутовъ, — играла музыка, широкая улица, залитая электричествомъ, громыхала экипажами, въ воздухѣ стоялъ гулъ, окрики извозчиковъ, звонки конокъ... На душѣ у него было весело, глаза дивились невиданной роскоши улицы—и въ эти минуты какъ-то забылась родина. Но прошло время — и злая тоска, въ первый-же

вечеръ, въ новой обстановкѣ казармъ, охватила душу. А потомъ опять ударитъ по нервамъ шумная жизнь столицы, прорвется сладкая минутка забвенія—и снова тихое раздумье, воспоминанія и прежняя тягучая тоска. Казарменная жизнь, постоянная работа, уходъ за лошадью, гимнастика, ученье, занятія съ «дядькой», эти четыре мѣсяца послѣ пріѣзда въ столицу — цѣлая вѣчность! Это время, казалось, отдѣлило Ткаченко отъ родины, вывернуло его душу, поработило его и безъ того слабый умъ, сдѣлавъ его робкимъ и послушнымъ и словно запутавъ его какими-то невидимыми нитями... Прежнимъ осталась только одна тоска по родинѣ. Часто-часто тревожатъ память солдатика воспоминанія родины, сидитъ-ли онъ въ своей конуркѣ и ждетъ призывнаго звонка барина, катитъ-ли коляску по бульвару, стоитъ-ли въ его комнатѣ у порога, сидитъ-ли въ саду и смотритъ на небо... Иногда душу Ткаченки охватываетъ какая-то непримиримая ненависть къ этому больному человѣку, и онъ тогда считаетъ его самымъ главнымъ зломъ, создавшимъ ему скучную и однообразную жизнь... И тогда Ткаченко искренно и глубоко желаетъ этому человѣку смерти. Ноги его умерли, пусть-же умрутъ и эти трясущіяся, безпомощныя руки, пусть поникнетъ эта сѣдая лысая голова, сомкнутся сердитые глаза и замретъ въ груди злое «косматое» сердце!...

— Ткаченко! поверни коляску — солнце мѣшаетъ!..—оторветъ Ткаченко отъ размышленія окрикъ барина, и онъ, мгновенно спугнувъ свои грѣховныя думы, бросится исполнять приказанія, потомъ отойдетъ и снова сядетъ на прежнее мѣсто. Думы его примутъ другое направленіе. Осмотрится онъ по сторонамъ и радъ: душу не тревожатъ воспоминанія о родинѣ, и злоба на барина улеглась.

Свѣтитъ яркое теплое солнышко; въ небѣ ясно-ясно... въ саду тихо-тихо...

IV.

Когда наступала хмурая, туманная осень, Тихонъ Александровичъ становился положительно невыносимъ. Перемѣна погоды вліяла на его ослабшія мышцы и больные нервы, безъ того плохое равновѣсіе духа нарушалось окончательно, и онъ цѣлыми днями капризничалъ, какъ ребенокъ, придирался къ домашнимъ и бранился, проклиная и окружающихъ, и себя, и свою жизнь. Чаще другихъ съ нимъ былъ Ткаченко, и ему одному приходилось переносить всю тяжесть барскихъ капризовъ и брани.

Разстроенный и больной капитанъ плохо спалъ по ночамъ, заставляя солдата дежурить у дверей цѣлыми ночами. То приказывалъ онъ поправлять ноги и закутывать ихъ въ пледъ, а потомъ вдругъ принимался жаловаться на жару и бранить денщика, зачѣмъ онъ такъ натопилъ печь; изъ открытой форточки дуло, и изъ-за этого выходили недоразумѣнія; вода, которую Ткаченко подавалъ барину пить, казалась то холодной, то ужъ очень теплой. Въ эти дни отношенія капитана къ сыну и невѣсткѣ также измѣнялись. Придравшись къ какому-нибудь незначительному случаю за обѣдомъ или за завтракомъ, капитанъ вступалъ съ домашними въ споръ, и если кто-нибудь съ нимъ не соглашался или если Тихону Александровичу начинало казаться, что съ нимъ не соглашаются, онъ выходилъ изъ себя, бранился и, наконецъ, бросивъ на столъ ложку, приказывалъ Ткаченкѣ везти себя въ свою комнату. Сынъ и невѣстка принимались уговаривать старика, но это, обыкновенно,

ни къ чему не вело; напротивъ, онъ еще больше раздражался и злоба долго не оставляла его. Удалившись къ себѣ, капитанъ продолжалъ ворчать, а потомъ приказывалъ денщику принести бумаги и чернилъ и принимался писать сыну письмо, переполняя свое посланіе обидными упреками. Въ такихъ случаяхъ ему всегда казалось, что сынъ и невѣстка ждутъ его смерти, и за это онъ проклиналъ ихъ, называя извергами рода человѣческаго. Денщикъ уносилъ письмо, а старикъ сидѣлъ и ждалъ отвѣта. Иногда полковникъ лично являлся къ отцу и принимался его уговаривать, но чаще старикъ получалъ длинное отвѣтное посланіе и, углубившись въ чтеніе, всегда успокаивался увѣреніями въ неизмѣнномъ почтеніи и преданности, какія питаютъ къ нему сынъ и невѣстка.

Подъ конецъ дня, когда небо потемнѣетъ, садъ окутается мглою, и въ окна комнаты заглянетъ сумракъ ненастнаго вечера, на душѣ капитана также потемнѣетъ, и опять начнутся прежніе капризы, часто продолжающіеся всю ночь.

Какъ-то разъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней стояли безпрерывные холода, почти не переставая шелъ дождь, хмурилось небо, дулъ рѣзкій вѣтеръ. Иногда по городу разносились гулкіе и тревожные пушечные выстрѣлы, возвѣщавшіе наводненіе. Послѣ одной такой ночи погода разомъ измѣнилась.

Вошелъ утромъ Ткаченко въ комнату барина, и она показалась ему не такой темной и неприглядной, какъ за всѣ предыдущіе дни: сквозь опущенныя сторы на подоконникѣ, на полу и на углу стола лежали яркія полосы свѣта, и Тихонъ Александровичъ встрѣтилъ денщика въ хорошемъ расположеніи духа. Противъ обыкновенія, прежде, чѣмъ выпить стаканъ воды, капитанъ приказалъ

денщику поднять сторы, и когда приказаніе было исполнено — полосы свѣта стали еще ярче, и въ отдаленныхъ углахъ комнаты просвѣтлѣло.

— Сегодня солнышко?—добродушнымъ тономъ спросилъ Тихонъ Александровичъ.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, тепло на дворѣ, — отвѣтилъ денщикъ, чуткій къ такой перемѣнѣ тона.

— И вѣтру нѣтъ?

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе.

— И дождя нѣтъ?

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, и дождя нѣтъ.

Капитанъ молча одѣлся, умылся и за завтракомъ велъ себя такъ, какъ давно не случалось. Весело разсказалъ онъ содержаніе сна, который приснился ему минувшей ночью; полковница, въ свою очередь, повѣдала, что приснилось ей, и утреннее свиданіе съ домашними прошло весело, и только въ концѣ завтрака вышло небольшое недоразумѣніе. Утирая салфеткой губы послѣ жирнаго бифштекса, Тихонъ Александровичъ сообщилъ, что намѣренъ отправиться на прогулку, а полковникъ уговаривалъ его не дѣлать этого, такъ какъ за послѣдніе дни все время у Тихона Александровича была повышенная температура. Капитанъ, однако, настоялъ на своемъ.

Проѣхавъ по бульвару обычное разстояніе, Тихонъ Александровичъ и Ткаченко повернули направо въ переулокъ, направляясь къ темнымъ воротамъ сквера.

Залитый яркими лучами солнца садъ въ осеннемъ убранствѣ отливалъ золотомъ и изумрудомъ. Березы, вязы и клены съ желтыми прозрачными листьями стояли, какъ заколдованные, не шелохнувъ вѣткой, и только иногда, сами собою отор-

вавшіеся падали на землю поблекшіе листочки. Тихонъ Александровичъ нѣсколько разъ перекрестился при въѣздѣ въ ворота, и когда коляска очутилась на аллеѣ приказалъ денщику ѣхать скорѣе. Надъ ихъ головами мелькала желтая прозрачная листва, на дорожкѣ сада лежали солнечныя пятна, и по сторонамъ, сбитые вѣтромъ, были разбросаны опавшіе листья.

Прокативъ коляску вдоль длинной аллеи, Ткаченко повернулъ направо на узенькую дорожку и выѣхалъ на площадку съ цвѣтникомъ посерединѣ. Тихонъ Александровичъ приказалъ остановиться около лавочки и съ какой-то дѣтской улыбкой посмотрѣлъ на поблекшіе цвѣты. Темно-красные, ярко-желтые и свѣтло-сиреневые стояли они съ поникшими головками, словно ослабѣвъ за всѣ эти дни бурь и непогоды. Цвѣты, площадки, дорожки, Тихона Александровича и Ткаченко заливало яркими лучами солнышка, и точно все въ природѣ говорило: послѣдній день тепла и свѣта, а потомъ наступитъ ненастье, холодъ и суровая зима покроетъ и дорожки и цвѣтникъ бѣлымъ саваномъ.

Тихонъ Александровичъ осмотрѣлъ цвѣтникъ и тихо произнесъ:

— Ткаченко, сорви вонъ тотъ яркій желтый цвѣтокъ.

Зная, что цвѣты въ саду рвать воспрещается, Ткаченко медлилъ исполнить приказаніе барина. Замѣтивъ замѣшательство денщика, Тихонъ Александровичъ повторилъ:

— Сорви, все равно, они скоро всѣ погибнутъ...

Ткаченко исполнилъ приказаніе.

Тихонъ Александровичъ поднесъ къ лицу георгинъ и понюхалъ. Большой желтый цвѣтокъ, ли-

шенный запаха, только оросилъ его сѣдые усы и блѣдныя губы...

Капитанъ, внимательно разсмотрѣвъ цвѣтокъ, перевелъ глаза не цвѣтникъ, какъ-бы отыскивая что-то, но потомъ опустилъ глаза, видимо, удовольствовавшись тѣмъ, что имѣлъ.

Ткаченко сидѣлъ на лавкѣ и радовался — и тихому дню, и яркому солнышку, радовался также и тому, что баринъ сегодня такой добрый. Старикъ, дѣйствительно, рѣдко бывалъ такимъ. Покапризничавъ за послѣдніе дни, сегодня онъ былъ спокоенъ съ утра, какъ будто теплое солнышко воздѣйствовало на него такъ примирительно. Природа точно умышленно настроила его такъ, чтобы проститься съ нимъ, согрѣвъ его душу и успокоивъ сердце. Это былъ послѣдній радостный день въ жизни старика...

Пока Ткаченко катилъ до дому коляску, Тихонъ Александровичъ разсматривалъ лепестки цвѣтка, сорваннаго въ саду, и о чемъ то думалъ, сосредоточенно и угрюмо. Дума эта не оставляла его и тогда, когда онъ приказывалъ деньщику налить въ стаканъ воду и опустить въ него поблекшій цвѣтокъ: это былъ послѣдній даръ природы...

Съ вечера капитанъ снова захандрилъ, жалуясь на головную боль и на лихорадку. Полковникъ посмотрѣлъ пульсъ и, убѣдившись, что у отца жаръ, покачалъ головою, и, послѣ непродолжительнаго совѣщанія съ женою, рѣшилъ дать ему хины.

— Вотъ, отецъ, я говорилъ тебѣ — не надо бы выходить сегодня, у тебя всѣ эти дни была лихорадка,—высказалъ свое неудовольствіе полковникъ. Отецъ ни звукомъ не отвѣтилъ на это замѣчаніе.

Тихонъ Александровичъ лежалъ въ постели съ высоко приподнятою на подушкахъ головою и тяжело дышалъ; съ каждымъ часомъ ему становилось хуже. Часовъ въ десять вечера былъ докторъ. Молодого человѣка встревожила сильная лихорадка больного и его жалобы на боль въ боку, но онъ не высказалъ своего предположенія и уѣхалъ.

Въ эту первую ночь болѣзни капитана почти никто въ домѣ Звѣринцева не спалъ. Больной бредилъ и метался по постели, когда сознаніе оставляло его, въ короткіе же промежутки, приходя въ себя, капитанъ снова становился прежнимъ капризнымъ ребенкомъ.

На слѣдующій день наступило нѣкоторое улучшеніе. Ткаченко перенесъ его съ постели въ коляску и даже вручилъ газету, но капитанъ не могъ читать: силы оставили его, и денщикъ опять перенесъ больного въ постель. Къ вечеру капитанъ лишился рѣчи и сознанія и лежалъ въ постели безпомощнымъ и жалкимъ...

Въ моментъ смерти капитана въ комнатѣ никого, кромѣ Ткаченка, не было. Въ первомъ часу ночи полковникъ и полковница, усталые отъ безсонной ночи и утомленные тревогой, ушли къ себѣ, приказавъ Ткаченку разбудить ихъ, если съ больнымъ будетъ хуже. Ткаченко остался въ комнатѣ, еле держась на ногахъ отъ усталости. Осторожно взялъ онъ отъ окна стулъ, переставилъ его къ двери возлѣ печи, и усѣлся, съ лукавствомъ въ глазахъ посмотрѣвъ въ сторону больного, который чуть слышно дышалъ и по временамъ стоналъ.

Небольшая лампочка подъ зеленымъ абажуромъ озаряла комнату какъ то въ половину. Освѣщены были полъ, столъ, стулья, кровать съ больнымъ и окна до половины, на потолкѣ надъ лам-

пой отражалось свѣтлое пятно. Ткаченко долго смотрѣлъ на это пятно, позѣвывая и потирая пальцами утомленные глаза. Иногда онъ останавливалъ взглядъ на больномъ; изъ-за угла подушки ему видны были лысый черепъ, строгій профиль съ оттопыренными усами, сложенныя на груди руки и согнутыя въ колѣняхъ ноги. Какое то странное отношеніе было у него теперь къ барину. Онъ зналъ, что баринъ, лишенный рѣчи, не будетъ его звать, не сможетъ крикнуть на него, и онъ не услышитъ за всю эту ночь обидной брани; Ткаченко не сомнѣвается также, что руками, безпомощно сложенными на груди, баринъ не будетъ его бить по щекамъ. И Ткаченко смѣло сидитъ на стулѣ, прислушиваясь къ звукамъ ночи. На каминѣ не громко постукиваютъ часики, въ саду расходившаяся непогода шумитъ листвою деревъ, въ окна стучитъ дождь... И вдругъ что то мощное вторгается въ хоръ голосовъ ночи: воздухъ потрясаютъ три глухихъ пушечныхъ удара... Наводненіе... Въ темнотѣ ночи носится что то вѣщее и грозное...

Какъ то жутко вдругъ становится Ткаченку, одинокому, въ этой полутемной душной комнатѣ, вблизи человѣка, который ежедневно отравлялъ его жизнь. Теперь онъ безсиленъ, теперь онъ недвижимъ и молчаливъ, и бываютъ минуты, когда Ткаченко забываетъ о немъ. Что для него эта догорающая жизнь? Онъ думаетъ о своей жизни и о своемъ будущемъ. Прошлое также тревожитъ его память. Мысли невольно уносятся къ далекому родному югу. Ткаченко закрылъ глаза и прислонился къ спинкѣ стула... Вспоминается ему бѣлая двухоконная хатка съ голубенькими ставнями, вокругъ хатки — дворъ, обнесенный частоколомъ, дальше огородъ и садъ съ громаднымъ приземи-

стымъ тополемъ, на вершинѣ котораго темнѣетъ гнѣздо аиста... а еще дальше—поля и луга, лѣски и холмы...

Ткаченко заснулъ и не видѣлъ, въ какихъ страшныхъ мученіяхъ догорѣла жизнь Тихона Александровича.

Дня черезъ два, послѣ обѣда, капитана Звѣринцева хоронили. Когда солдаты-кавалеристы выносили изъ квартиры гробъ съ останками покойнаго, Ткаченко помогалъ имъ. Гробъ поставили подъ темный катафалкъ на громадныхъ дрогахъ, въ которыя были впряжены двѣ пары лошадей въ темныхъ попонахъ. День былъ пасмурный, моросилъ дождь... Вдоль бульвара лошади шли медленно. Оголенныя деревья шумѣли вѣтками, сбрасывая послѣдніе пожелтѣвшіе листья. Катафалкъ слегка вздрагивалъ на неровностяхъ мостовой, четыре тяжелыхъ колеса медленно вертѣлись безъ шума, безъ скрипа...

Ткаченко стоялъ у воротъ и смотрѣлъ въ сторону погребальной процессіи. Когда за угломъ сквера скрылся темный верхъ катафалка, онъ повернулся и вошелъ въ подъѣздъ. «Вечеромъ отпрошусь у полковника въ эскадронъ... земляковъ повидать»... подумалъ онъ.

НИ ЖИВЫЕ—НИ МЕРТВЫЕ

(Разсказъ).

I.

Минувшей ночью Игнатію Иванычу почему-то не спалось. Легъ онъ наканунѣ, послѣ сытнаго ужина, въ хорошемъ расположеніи духа и даже скоро заснулъ, но тутъ, какъ вихрь какой, таинственный и неспокойный, налетѣли на него сновидѣнія — и чего-чего только ни снилось ему, и все такое нехорошее. Проснется Игнатій Иванычъ съ тревогой на душѣ, повернется на другой бокъ, не раскрывая глазъ, снова забудется — и опять сновидѣнія... Утромъ проснулся онъ позже обыкновеннаго, обильно смочилъ водою голову, расчесалъ бороду и усы, помолился Богу и усѣлся пить чай. Сидя на диванѣ за круглымъ столикомъ, послѣ ночи съ тревожными сновидѣніями, онъ хмуро посматривалъ на оконныя рамы, по стекламъ которыхъ катились дождевыя капли, и прислушивался къ шипѣнію потухающаго самовара. Газетный листокъ, лежавшій около него на мягкомъ сидѣньи дивана, оставался неразвернутымъ— читать не хотѣлось; стаканъ жидкаго чая съ плавающимъ кружкомъ лимона—остылъ; остывшими казались и всѣ чувства Игнатія Иваныча: и думы, и ожиданія, и мечтанія. Бываютъ у Игнатія Ива-

ныча такія странныя настроенія, и не рѣдко. На жизнь онъ никогда не роптал, положеніемъ своимъ былъ доволенъ, не нарушали его настроеній и денежныя дѣла, въ которыя онъ былъ всецѣло погруженъ, а вотъ подите — и ему не чужды колебанія въ ежедневныхъ настроеніяхъ. Раньше, въ молодости, еще смущало его иногда одиночество и жажда семьи, а теперь и этого не чувствовалось: сорокъ девять лѣтъ, прожитые Игнатіемъ Иванычемъ, все измѣнили...

Часу въ одиннадцатомъ въ маленькую квартирку Игнатія Иваныча позвонили. Пока толстая и рябая старуха кухарка ворчала, заслыша звонокъ, и медленно съ перевальцемъ двигалась къ двери, чтобы впустить гостя, Игнатій Иванычъ задавался вопросомъ—кто бы это могъ придти такъ рано и при этомъ еще такъ безцеремонно громко звонить?

— Дома? Всталъ?.. А — а... хорошо, хорошо! — слышался въ прихожей густой голосъ.

На порогѣ появился длинный и тощій господинъ, въ сюртукѣ, съ шарфомъ, обмотаннымъ вокругъ шеи, и съ мокрымъ отъ дождя котелкомъ въ рукахъ. Лицо господина было сухощаво и морщинисто, безъ усовъ и бороды, какъ у ксендза, глаза сѣрые и быстро бѣгающіе, руки длинныя и красныя, съ траурными, давно не стриженными ногтями на пальцахъ.

— Чи алъ? А? Игнатій, читалъ?..—забрасывалъ вопросами вновь прибывшій, здороваясь съ хозяиномъ.

— Что читалъ? Ничего я не читалъ, — сумрачно отвѣтилъ Игнатій Иванычъ.

— Что?.. Газетное объявленіе... Да вотъ у тебя и газета подъ носомъ.

Перегнувшись длиннымъ корпусомъ черезъ кресло, на которомъ мирно дремалъ большой бѣ-

лый котъ, гость развернулъ небольшой тоненькій листъ уличной газетки, почти сплошь заполненный объявленіями.

— Нѣтъ, ты представь себѣ. Должно быть, это очень выгодное предпріятіе!.. Вотъ погоди — слушай: «Приглашаются компаньоны съ капиталомъ въ 2—3 тысячи для участія въ хорошо поставленномъ и выгодномъ предпріятіи, съ личнымъ трудомъ и безъ онаго. Спр. въ конторѣ К. предъявителю кредитнаго билета трехрублеваго достоинства № 267825».

Гость прочелъ объявленіе, выпучилъ на Игнатія Иваныча свои сѣренькіе глазки и воскликнулъ:

— А!.. Братъ!.. Игнатій, ѣдемъ!.. Право, попытаемъ счастье!..

— Вотъ ты всегда такъ—«попытаемъ»... Пытали мы съ тобой не разъ, да чуть было не заварили каши... Попытаемъ!..—наконецъ возразилъ все время молчавшій Игнатій Иванычъ.

— Чудакъ! да вѣдь мы не обязаны ничѣмъ: справимся, подумаемъ... ну, тогда...

— Горячъ ты, Порфирій Иванычъ... Чуть-что прочитаешь — то ты и лыко въ строку, чуть-что услышишь — то тебѣ горы золота... Что же попусту-то ѣздить, на извозчика или на конку тратиться. А погода-то вонъ какая!

Игнатій Иванычъ махнулъ рукою по направленію окна и отхлебнулъ изъ стакана чай. Порфирій Иванычъ также покосился на окно и равнодушно отвѣтилъ:

— Что-жъ тебѣ погода? Ты пойми, чудакъ, 2—3 тысячи рублей, вѣдь это пустяки. А вдругъ, это дѣло выгодное! На биржу мы рѣдко ходимъ, на скачкахъ намъ не везетъ...

— Я сколько разъ говорилъ тебѣ не упоминать объ этихъ проклятыхъ скачкахъ!—гнѣвно восклик-

нулъ Игнатій Иванычъ: лицо его поблѣднѣло, глаза метали искры злобы.

— Ну, хорошо, хорошо...

Порфирій Иванычъ прогналъ съ кресла кота, усѣлся на его мѣсто и, немного отвалившись на спинку, продолжалъ покойнымъ и вмѣстѣ увѣреннымъ тономъ:

— Слушай меня, братъ. Деньги тогда только и интересны, когда онѣ не лежатъ, а въ ходу...

— Ну, пошелъ! Давно я это слышалъ!.. вздумалъ было возразить Игнатій Иванычъ, но братъ его прежнимъ тономъ продолжалъ:

— Ничего, что слышалъ — послушай и еще... Ну, такъ вотъ-съ: деньги — вода. Застоится вода въ болотѣ или въ озерѣ, и рыба въ ней начнетъ дохнуть; а какъ въ рѣкѣ какой или ручьѣ, а то и въ морѣ... льется она тамъ, крутитъ, бурлитъ... глядишь, что нибудь и несетъ: щепотку какую, а то и цѣлое бревнушко... Вотъ такъ и деньги: залежатся онѣ у тебя въ сундукѣ или въ бумажникѣ, и духъ отъ нихъ нехорошій пойдетъ, а какъ ты встряхнешь ими по молодецки, такъ онѣ тебѣ и дадутъ!.. Помнишь, что говорилъ отецъ-то на смертномъ одрѣ?

— Помню,—угрюмо подтвердилъ Игнатій Иванычъ.

— Ну, такъ вотъ. Не забывай этого. Только съ такими принципами отецъ и нажилъ деньги... да... Онъ, братъ, не тушилъ ихъ! да, не тушилъ!..

Порфирій Иванычъ всталъ, прошелся по комнатѣ, побарабанилъ по подоконнику пальцами, проходя мимо окна, и, возвратившись къ столу, продолжалъ дѣловымъ тономъ:

— Съ Иваномъ Лукичемъ сегодня встрѣтился, на биржу онъ ѣхалъ... Замахалъ этакъ зонтикомъ, остановилъ извозчика, да и подозвалъ меня. «Чи-

тали, говоритъ, въ нынѣшнемъ номерѣ?» — Какъ-же, говорю, читалъ. «Ну, то-то, говоритъ, а все жалуетесь, что ныньче всѣ дѣла въ застоѣ!» и поѣхалъ дальше...

— А что же это твой Иванъ Лукичъ самъ не направился въ контору К., вмѣсто того, чтобы на биржу то ѣхать?—съ ироніей въ голосѣ спросилъ Игнатій Иванычъ, вспомнивъ о своей неудачѣ на скачкахъ, которая, по его глубокому убѣжденію, имѣла мѣсто, только благодаря подстрекательству Ивана Лукича.

— Странный ты! — возразилъ Порфирій Иванычъ: Иванъ Лукичъ—человѣкъ чуть ли не милліонщикъ, а мы съ тобою что?.. Какъ на скачкахъ продулись, и носъ на квинту?..

— Опять!—грозно оборвалъ брата Игнатій Иванычъ.

Гость понялъ, къ чему относился этотъ грозный окрикъ, и перевелъ разговоръ съ непріятной для брата темы о скачкахъ на вопросъ дня, а такимъ вопросомъ было переполошившее его газетное объявленіе.

— Двѣ-три тысячи... пополамъ — это будетъ тысяча или полторы. Развѣ ты многимъ рискуешь, если, положимъ, дѣло не удастся, а при благопріятномъ исходѣ...—Кто знаетъ, что это за дѣло, о которомъ публикуютъ... Вдругъ, братъ, мы съ тобою нападемъ на такія золотыя розсыпи!.. Надо быть, голубчикъ, американцемъ. Ты, я вижу, отсталъ, а почитай-ка- какія чудеса описываются тамъ: деньги смѣло вкладываются въ предпріятіе, и подчасъ созидается такой чудеснѣйшій процентъ!..

Долго еще говорилъ Порфирій Иванычъ о деньгахъ и о томъ, какъ надо поступать съ ними, чтобы онѣ не залеживались, а напротивъ, крутясь въ вихрѣ дѣлъ, увлекали-бы за собою и человѣка.

Для того, чтобы разшевелить и увлечь брата, Порфирій Иванычъ вспоминалъ о тѣхъ случаяхъ, когда увлекалъ его въ различныя предпріятія и когда онъ выходилъ побѣдителемъ, слѣдя за ростомъ собственнаго капитала и еще больше становясь податливымъ на другіе смѣлые шаги въ области финансовыхъ операцій. Кончилъ Порфирій Иванычъ тѣмъ-же, съ чего началъ—газетнымъ объявленіемъ, стараясь убѣдить брата, какъ хорошо вдвоемъ начинать дѣло...

II.

Лѣтъ десять тому назадъ братья получили наслѣдство послѣ смерти отца, раздѣлили доставшійся капиталъ по семи съ половиною тысячъ и зажили каждый по своему. До того счастливаго времени старшій изъ нихъ, Игнатій, служилъ въ банкѣ, младшій, Порфирій—въ конторѣ какого-то желѣзнодорожнаго туза. Получивши наслѣдство, оба брата, словно сговорившись, ушли со службы и занялись денежными дѣлами. Начали они со скупки дачъ въ пригородныхъ мѣстностяхъ столицы. Скупивъ дачи, они за-ново отдѣлывали ихъ и перепродавали съ большимъ барышемъ въ другія руки, и эти выгодныя операціи поощрили молодыхъ капиталистовъ на дальнѣйшія смѣлыя предпріятія. Помимо этого, Порфирій Иванычъ увлекался скачками и игрой на биржѣ и, благодаря своимъ способностямъ, втянулъ въ это дѣло и брата. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и предначертаніяхъ дѣловыхъ плановъ Порфирій Иванычъ, какъ загипнотизированный, подражалъ нѣкоему Ивану Лукичу, который, начавъ съ грошевыхъ, но смѣлыхъ предпріятій—теперь богачъ, столичный домовладѣлецъ и гласный городской думы,

Игнатій и Порфирій Петрушкины во многомъ были похожи одинъ на другого: одинаково любили они деньги, охотно подчиняя себя ихъ власти; оба были скупы, разсчетливы и недовѣрчивы къ людямъ, и оба не любили людей, старательно охраняя себя отъ нихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, стараясь взять отъ нихъ «многое» и «ничего» не дать взамѣнъ. Люди также не любили ихъ, за исключеніемъ тѣхъ, кто служилъ имъ. Только въ одномъ непохожи были братья другъ на друга. Порфирій Иванычъ довольно охотно характеризовалъ себя «американцемъ», въ этой характеристикѣ не отказывали ему и другіе, наблюдая смѣлость и энергію, съ которыми онъ пускается въ разныя спекулятивныя предпріятія, а Игнатій Иванычъ, напротивъ, былъ сдержанъ и разсудителенъ. Деньги свои вкладывалъ онъ въ такія предпріятія, которыя на языкѣ дѣльцовъ называются «вѣрными дѣлами». Экспансивный и смѣлый «американецъ», Порфирій, вліялъ на брата, и тотъ слушался его, но вотъ, однажды, Игнатій Иванычъ, благодаря подзадориванью брата и Ивана Лукича, проигралъ на скачкахъ семьсотъ слишкомъ рублей и послѣ проигрыша впалъ въ меланхолію, проклиная и совратителей и самыя скачки, и давъ себѣ слово никогда не пытать этого призрачнаго счастья. Порфирію не нравилась происшедшая съ братомъ перемѣна, но потомъ онъ пришелъ къ заключенію, что на брата лучше всего дѣйствовать логикой рубля; надо втягивать его только въ такія предпріятія, въ успѣхѣ которыхъ никто не могъ бы усомниться. Послѣ одного крупнаго разговора, когда Игнатій Иванычъ позволилъ себѣ незаслуженно оскорбить брата разными неблаговидными намеками, между ними произошла ссора. Мѣсяца два послѣ этого младшій братъ не бывалъ у стар-

шаго и послѣдняго не приглашалъ къ себѣ. Порфирій въ это время увлекался биржей, гдѣ ему постоянно везло, а Игнатій Иванычъ уединился, не выползая на арену спекуляцій и денежныхъ дѣлъ. Мало-по-малу, однако, вражда утратила свою остроту, и заскучавшій по братѣ Игнатій Иванычъ навѣстилъ Порфирія, и во время этого свиданія состоялось окончательное примиреніе, хотя прежнихъ отношеній между братьями уже не было: Порфирій Иванычъ и думать не смѣлъ, чтобы совратить брата на какое-нибудь денежное предпріятіе.

Прошло года полтора, въ продолженіи которыхъ Игнатій Иванычъ жилъ, ничего не предпринимая, проѣдая купоны, которые то и дѣло приходилось отрѣзать. Этотъ процессъ «отрѣзанія» довольно своеобразно повліялъ на психику Игнатія Иваныча.

Раньше, участвуя въ предпріятіяхъ, онъ видѣлъ, что, несмотря на нѣкоторый рискъ, все же чаще выходило такъ, что, подводя итогъ къ концу года, Игнатій Иванычъ замѣчалъ увеличиваніе своего капитала, а за годъ бездѣйствія—капиталъ этотъ увеличивался лишь обычнымъ процентомъ, который не удовлетворялъ Игнатія Иваныча, тѣмъ болѣе, что часть его приходилось проживать. Это обстоятельство вогнало Игнатія Иваныча въ тоску, и онъ заскучалъ, проклиная непріятный инцидентъ съ братомъ,—и ему снова захотѣлось дѣла, суетни и бѣготни подъ пріятное бряцаніе золота... Нѣсколько разъ и очень осторожно почему-то онъ старался намекнуть брату, что не прочь снова вступить съ нимъ въ компанію и припасть къ какому-нибудь источнику обогащенія. Догадливый Порфирій Иванычъ, конечно, сообразилъ, въ чемъ дѣло, слѣдя за оттѣнками рѣчи брата и вылавливая тщательно скрытые намеки; лучше врача по-

нялъ онъ, отчего братъ поблѣднѣлъ и осунулся и кажется такимъ скучнымъ и убитымъ. И Порфирій Иванычъ терпѣливо сталъ выжидать случая, когда можно бы было возвратить брата къ прежней жизни. Случай этотъ представился ему, когда онъ прочелъ таинственное газетное объявленіе, такое привлекательное въ своемъ замаскированномъ соблазнѣ. Вотъ почему онъ и пріѣхалъ къ брату въ это пасмурное осеннее утро...

— Ну, такъ какъ-же, Игнатій, поѣдемъ?—спросилъ наконецъ Порфирій Иванычъ послѣ продолжительной паузы.

— Ужъ и не знаю, что дѣлать, — растягивая каждое слово, отвѣчалъ тотъ — поѣхать, конечно, хорошо, и отчего-бы не поѣхать...

— Ну, такъ въ чемъ же дѣло?..

— А дѣло, видишь-ли, въ томъ — что это за дѣло такое? даромъ бы не проѣхаться?..

— Чудакъ, право!.. Ну, тамъ увидимъ!..

Игнатію Иванычу страшно хотѣлось поѣхать, и своей нерѣшительностью онъ хотѣлъ только показать брату, что его собственныя убѣжденія теперь ужъ не такъ-то легко поколебать, и что теперь онъ уже не тотъ легкомысленный Игнатій Иванычъ, котораго раньше легко было вовлечь въ какое угодно предпріятіе, лишь бы только показать издали проценты, хотя бы въ видѣ невѣрнаго предположенія. Въ дѣйствительности же, теперь больше, чѣмъ когда нибудь, Игнатій Иванычъ былъ слабъ передъ соблазномъ этого всесильнаго процента...

— Да ужъ что раздумывать—поѣдемъ, что-ли!— наконецъ согласился онъ, поднявшись съ дивана.

III.

Братья вышли на улицу, въ осеннихъ пальто съ приподнятыми воротниками, съ засученными у сапогъ панталонами и въ галошахъ. Въ рукахъ каждаго изъ нихъ было по зонту, сердце каждаго сосалъ какой то червь ожиданій, весьма пріятно щекочущій нервы.

Шелъ мелкій осенній дождь, было холодно; улицы и дома казались темными и скучными, люди были недовольны непогодой—спѣшили, бранились и нервничали... Весело бесѣдуя, братья добрались до Владимірской по конкамъ и вышли изъ тѣснаго вагона, направляясь въ справочную контору. Здѣсь они получили отъ какого-то господина адресъ предпринимателя, напечатавшаго объявленіе, и снова вышли на холодную и мокрую улицу. Порфирій Иванычъ немного прозябъ и началъ соблазнять брата зайти въ ресторанъ на той же улицѣ, но тотъ не сразу на это согласился. Игнатій Иванычъ скрывалъ, но его положительно колотила лихорадка ожиданія, и ему, какъ только возможно скорѣе, хотѣлось добраться по адресу и узнать, что это за таинственное предпріятіе?

— Зайдемъ не надолго, выпьемъ по рюмочкѣ, закусимъ, да и въ путь-дорогу! ѣхать далеко!.. Можетъ быть, въ ресторанѣ кого нибудь изъ нашихъ встрѣтимъ,—старался уговорить брата Порфирій Иванычъ.

Забѣжавши въ ресторанъ, закусивши и не встрѣтивъ никого изъ «своихъ», братья пустились въ дальнѣйшее путешествіе въ роты Измайловскаго полка. Оба рѣшили, что ѣхать удобнѣе и приличнѣе случаю на извозчикѣ, и, немного поторговавшись съ хмурымъ отъ непогоды «Ванькой», усѣлись въ пролетку съ приподнятымъ верхомъ и по-

ѣхали. Съ извозчика сошли они около четырехъэтажнаго коричневаго дома на пятой ротѣ. Игнатій Иванычъ осмотрѣлъ домъ, провѣрилъ, тотъ-ли нумеръ красуется на фонарикѣ у воротъ, и потомъ взоръ его скользнулъ по рядамъ оконъ. У воротъ направо была мелочная лавочка, по другую сторону воротъ виднѣлся подъѣздъ, а дальше, надъ дверью, ведущей въ подвальный этажъ, была прибита вывѣска съ изображеніемъ гроба; на темномъ фонѣ вывѣски золотыми буквами значилось «Гробовое заведеніе П. Ф. Силина»; другія двѣ вывѣски прибиты были по сторонамъ двери и на каждой изъ нихъ было написано: «Гробы разныхъ вѣроисповѣданій, а также металлическіе и проч.».

Игнатій Иванычъ машинально прочелъ эти надписи, посмотрѣлъ на мрачное изображеніе гроба на вывѣскѣ и отвернулся: мрачнымъ вдругъ стало и его лицо. Съ дѣтскихъ лѣтъ Игнатій Иванычъ всегда побаивался смерти, и какой-то безотчетный, необъяснимый страхъ преслѣдовалъ его всякій разъ при видѣ покойника, гроба, похоронной процессіи и другихъ атрибутовъ смерти; все это дурно настраивало его одинокую душу. Съ непріятнымъ чувствомъ отвернулся отъ вывѣски Игнатій Иванычъ и въ это утро и принялся торопить брата, который, благодаря недостатку въ какой-то мелочи, никакъ не могъ разсчитаться съ извозчикомъ. Братья звонкомъ вызвали дворника и спросили, какъ пройти въ квартиру № 17. Дворникъ указалъ на дверь налѣво. Около двери на облѣзлой, смоченной дождемъ стѣнѣ была прибита жестяная дощечка съ изображеніемъ гроба и руки, указывающей перстомъ куда-то внизъ. Игнатій Иванычъ отвернулся отъ изображенія гроба и улѣзъ въ воротникъ пальто, а Порфирій Иванычъ, напротивъ, по близорукости, вплотную подошелъ

къ дощечкѣ и, равнодушнымъ взоромъ окинувъ начертанное на ней, послѣдовалъ за братомъ. Изъ холодныхъ и сырыхъ сѣней двустворчатая дверь вела въ квартиру гробового мастера Петра Флегонтыча Силина; на двери была прибита мѣдная дощечка съ именемъ, отчествомъ и фамиліей послѣдняго.

Дверь братьямъ открыла дѣвушка лѣтъ пятнадцати. Пропустивши посѣтителей въ маленькую прихожую, она посторонилась и вопросительно посмотрѣла въ лицо Порфирія Иваныча; тотъ объяснилъ ей причину своего визита. Изъ двери направо, застегивая пуговицы короткаго пиджака, вышелъ невысокій толстякъ, съ лысой головой, широкимъ лицомъ, темной бородкой и плутоватыми карими и блестящими глазками.

— Прошу покорнѣйше... Проходите... пожалуйте! — говорилъ онъ, указывая на дверь прямо, и, пропуская братьевъ въ узенькій корридорчикъ, просилъ проходить осторожно, такъ какъ по обѣ стороны прохода стояли прислоненныя къ стѣнѣ и лежали группами какія то доски различной длины и толщины. Въ корридорѣ пахло сырымъ деревомъ и скипидаромъ.

— Пожалуйте налѣво, въ контору! — командовалъ сзади идущій толстякъ.

Братья повиновались и, дойдя до двери налѣво, пріостановились. Въ комнатѣ съ низкимъ потолкомъ, которая носила названіе конторы, у окна стояла конторка, два-три мягкихъ стула размѣщались около нея и вдоль стѣны. Около же лѣвой стѣны комнаты и въ простѣнкахъ между окнами, стояли одинъ на другой взгроможденные гробы, обитые золотымъ и серебрянымъ глазетомъ, съ металлическими ручками и блестящими ножками. Въ раскрытую дверь въ помѣщеніи магазина

также виднѣлись гробы, шкафы съ парчей, металлическіе вѣнки и другія принадлежности похоронныхъ процессій.

Оба брата невольно поддались какому-то странному и жуткому впечатлѣнію, но толстенькій господинъ какъ будто и не замѣтилъ ихъ смущенія, прося посѣтителей присѣсть на стулья и вкрадчивымъ теноркомъ объясняя, что это дѣйствительно онъ сдѣлалъ публикацію, вызывая компаньоновъ для участія въ выгодномъ и хорошо поставленномъ предпріятіи. Братья сидѣли на стульяхъ, все еще не отдѣлавшись отъ неловкаго впечатлѣнія, и прислушиваясь къ тенорку словоохотливаго хозяина. Особенно жалкимъ казался Игнатій Иванычъ. Лицо его осунулось и поблѣднѣло, губы отвисли, руки и ноги дрожали, словно его привели въ склепъ и сейчасъ же живымъ положатъ въ одинъ изъ заготовленныхъ гробовъ. Онъ тѣснился съ своимъ стуломъ къ брату и, слушая толстенькаго человѣка, не слышалъ, что онъ говоритъ. Силинъ дѣловитымъ тономъ знакомилъ Порфирія Иваныча съ подробностями веденія дѣла, ссылаясь на выгодность предпріятія, попутно дѣлая какія-то цифровыя выкладки и упоминая о какихъ-то процентахъ. Порфирій Иванычъ, раньше брата отдѣлавшись отъ мимолетнаго непріятнаго чувства, слушалъ гробовщика съ серьезностью въ лицѣ.

— Почему же вы приглашаете компаньоновъ, если такъ хорошо идетъ ваше дѣло? — наконецъ, спросилъ онъ, хитро посмотрѣвъ въ глаза гробовщика.

— Да, видите-ли, такъ ужъ вышло... Самъ-то я еще тутъ въ одно предпріятіе вхожу, съ кумомъ своимъ... Тоже очень выгодное дѣло... Онъ, видите-ли, имѣетъ спеціальную велосипедную мастер-

скую; теперь пришлось дѣло-то расширить, а деньжонокъ у него не хватило, ну, я и вошелъ къ нему, такъ сказать, пайщикомъ. Капиталъ-то свой я вложилъ туда, а на расширеніе вотъ этого-то дѣла у меня и не хватаетъ, почему я рѣшилъ опубликовать — не найдутся ли желающіе въ компаньоны. Дѣло это, клянусь вамъ Богомъ, очень выгодное!.. Хорошо бы этакъ магазинчикъ побольше, да пошире бы развернуться...

Порфирій Иванычъ съ большимъ вниманіемъ выслушивалъ разсужденія Силина. Ему нравился этотъ человѣкъ съ быстро бѣгающими плутоватыми глазками. Хорошимъ чутьемъ «американца» Порфирій Иванычъ угадалъ, что ведетъ бесѣду съ бывалымъ и опытнымъ человѣкомъ, и, ничего еще не предрѣшая по части предложенія Силина быть его компаньономъ, онъ уже порѣшилъ вступить съ гробовщикомъ въ дѣловыя отношенія. Что работа гробовщика выгодна, объ этомъ зналъ онъ и раньше, не разъ касаясь этого вопроса съ пріятелями.

Игнатій Иванычъ, напротивъ, ждалъ, когда, наконецъ, поднимется братъ, и они уйдутъ изъ этого мрачнаго помѣщенія, отъ стѣнъ котораго, тусклыхъ оконъ почти вровень съ мостовой, а главное, отъ этихъ гробовъ — вѣетъ удушливымъ и мрачнымъ склепомъ; порой ему казалось даже, что гробы эти, плотно прикрытые крышками и составленные другъ на дружку, полны покойниками, и отъ нихъ такъ отвратительно пахнетъ. Подвальное помѣщеніе квартиры и магазина гробовщика, дѣйствительно, было сырое, съ запахомъ невысохшихъ досокъ и гнили сырыхъ, давно не ремонтированныхъ, стѣнъ — и не мудрено, если Игнатію Иванычу показалось, что пахнетъ отъ

гробовъ... Онъ необычайно изумился и даже повернулся на стулѣ, когда услышалъ голосъ брата.

— А это интересно! — воскликнулъ Порфирій Иванычъ, прерывая воодушевленную рѣчь Силина.—Подумать объ этомъ слѣдуетъ. Все, что вы говорили, Петръ Флегонтычъ, это такъ заманчиво... Какъ бы съ вами поподробнѣе да поосновательнѣе обсудить все это...

Порфирій Иванычъ съ увлеченіемъ развелъ руками и, повернувъ лицо къ брату, добавилъ:

— А?.. Какъ ты на этотъ счетъ, Игнатій?..

Встрѣтившись съ изумленнымъ взоромъ брата, Порфирій Иванычъ замялся на секунду, но потомъ снова переспросилъ:

— Игнатій Иванычъ! Какъ ты на этотъ счетъ?— и, не дождавшись отвѣта брата, обратился уже къ Силину:

— Намъ бы, знаете, куда нибудь въ ресторанчикъ, вотъ мы тамъ и поговорили бы!.. Кто знаетъ, можетъ быть, до чего нибудь и договорились бы!..

— Что-жъ, это хорошо! Здѣсь,—рукой подать, есть чудеснѣйшій ресторанчикъ и не дорогой! — живо поднявшись со стула, воскликнулъ Силинъ.

— Нѣтъ, ужъ я домой!.. — сумрачно проговорилъ Игнатій Иванычъ и также поднялся.

— Какъ!..—изумился гробовщикъ.

— Да... видите-ли... что-то вдругъ подъ ложечкой заныло... что то нездоровится... Вонъ я брату говорилъ, чтобы онъ одинъ поѣхалъ: третій день что-то нездоровится мнѣ, а тутъ еще погода, холодъ...

— А вотъ и хорошо бы, знаете-ли, рюмочку, другую рябиновочки!..—старался разсѣять печаль на лицѣ Игнатія Иваныча гробовщикъ.

— Нѣтъ, ужъ я домой! вы все съ братомъ переговорите...

Игнатій Иванычъ протянулъ было руку гробовщику, чтобы распроститься съ нимъ, но Порфирій Иванычъ остановилъ его вопросомъ:

— Что ты, Игнатій, и вправду нездоровъ?

— Да!.. страсть, какъ больно подъ ложечкой!..

— Ну, хорошо, до свиданія, я вечеромъ заѣду къ тебѣ! — рѣшилъ Порфирій Иванычъ, не замѣтивъ лжи брата и проникаясь сожалѣніемъ, что вытащилъ его изъ дома въ такую скверную погоду. Игнатій Иванычъ распрощался и ушелъ, а братъ его вмѣстѣ съ гробовщикомъ прошли въ мастерскую.

Громадная квадратная комната подвальнаго этажа, въ четыре окна, выходившія во дворъ, была занята мастерской гробовщика. Въ мрачномъ и душномъ помѣщеніи стоялъ шумъ и грохотъ отъ ударовъ топоровъ и молотковъ, лязга и шипѣнья рубанковъ и пилъ. Одни рабочіе строгали доски, другіе пилили, третьи сколачивали остовъ громаднаго гроба... Въ углу, налѣво, двое рабочихъ обивали свѣтлымъ глазетомъ только что сколоченный небольшой гробикъ, а рядомъ съ ними у стѣны рыжій, замазанный краскою, маляръ окрашивалъ свѣтло-коричневой краской сосновый гробъ, приставивъ его къ промозглой и сырой стѣнѣ мастерской... На длинномъ прилавкѣ два подростка и мастеръ, видимо, начинали новую работу. На прилавкѣ лежала длинная еловая доска, а мастеръ съ ленточной мѣркой въ рукахъ обмѣривалъ доску, намѣчая мелкомъ черточки, гдѣ надо обрѣзать доску по желанію новаго заказчика. Въ мастерской пахло красками, скипидаромъ и еще чѣмъ-то непріятнымъ и удушливымъ; казалось, эти сосновыя и еловыя доски, перенесенныя въ низкое помѣщеніе, утратили свой древесный запахъ и пріобрѣли здѣсь какой-то другой...

— Вотъ вамъ и мастерская!—говорилъ Силинъ, вводя Порфирія Иваныча въ комнату. Гробовщикъ снова увлекся и началъ знакомить гостя съ тонкостями производства выгоднаго товара. Часъ спустя, Порфирій Иванычъ и Силинъ сидѣли въ ресторанѣ за завтракомъ и обсуждали планъ будущей совмѣстной работы.

IV.

Распростившись съ братомъ и съ гробовщикомъ, Игнатій Иванычъ вышелъ на улицу; приподнявши воротникъ, застегнулъ онъ пальто на всѣ пуговицы, раскрылъ зонтъ и, сумрачно посматривая на прохожихъ, подозвалъ извозчика. Противъ обыкновенія не торгуясь, залѣзъ онъ въ пролетку и приказалъ ѣхать скорѣе.

Въ квартиру гробовщика входилъ онъ съ какимъ-то щекочущимъ чувствомъ, а вышелъ оттуда въ подавленномъ и сумрачномъ настроеніи. Знакомое ему гнетущее чувство — боязнь смерти — придавило его, сковало его недалекій суевѣрный умъ, заполонивъ его одинокую мистическую душу. Ему казалось, что не въ закрытомъ экипажѣ сидитъ онъ, а лежитъ въ глазетовомъ гробу съ мѣдными ручками и блестящими ножками, и что крупный дождь барабанитъ не по приподнятому верху пролетки, а по крышкѣ гроба, въ которомъ онъ лежитъ ни живой, ни мертвый... Почему-то въ памяти его запечатлѣлся этотъ желтый глазетовый гробъ, съ мѣдными ручками и блестящими ножками; будто онъ самъ пріѣхалъ къ гробовщику и выбралъ именно этотъ гробъ...

Вернувшись домой, Игнатій Иванычъ прошелъ въ спальню, поднялъ на окнахъ сторы и легъ въ постель. Перепуганная разстроеннымъ видомъ его

кухарка обратилась къ Игнатію Иванычу съ разспросами — не простудился-ли онъ? не попалъ-ли подъ конку или подъ извозчичью пролетку? или не вынули-ли у него изъ кармана кошелекъ съ деньгами, какъ это случилось годъ тому назадъ на богослуженіи въ Троицкомъ соборѣ?

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Нездоровится мнѣ, вѣрно, простудился, — только и пробормоталъ Игнатій Иванычъ и, закинувъ руки за голову, вытянулся на постели во весь ростъ.

— Малинки-бы вамъ, Игнатій Иванычъ, попить... А?.. Есть малинка-то, прикажите заварить?— участливо спрашивала кухарка.

Чего бы, казалось, ни предложила ему въ это время старуха, онъ на все бы согласился: въ эту минуту Игнатій Иванычъ нуждался въ сочувствіи другихъ и въ ихъ совѣтѣ. Ему представлялось, что если онъ останется одинъ, — то непремѣнно умретъ, а братъ, по знакомству съ Силинымъ, купитъ именно тотъ глазетовый гробъ, который не выходилъ изъ его разстроенной головы, и потомъ его зароютъ въ сырой и холодной могилѣ.

Кухарка напоила Игнатія Иваныча горячей малинкой, одѣла его пальто и шубой поверхъ одѣяла, и, крестясь и что-то нашептывая, тихонько вышла въ сосѣднюю комнату. Оставшись одинъ, Игнатій Иванычъ высунулъ изъ подъ одѣяла голову и безпокойнымъ взоромъ осмотрѣлъ спальню. Въ окна, изъ-за смоченныхъ дождемъ стеколъ, глядѣлъ сумрачный, дождливый день. Еще большимъ страданіемъ и страхомъ переполнилась его душа при видѣ сѣрыхъ тяжелыхъ тучъ, ползущихъ по небу... Одиночество пугало Игнатія Иваныча, и онъ позвалъ къ себѣ кухарку...

— Что, баринъ, что?.. Нездоровится вамъ?..

Вишь—и лицо-то какое блѣдное да худое и подъ глазами-то синѐ-синѐ!.. Дохтура не позвать-ли?..

Старуха говорила такимъ тономъ, какъ будто и дѣйствительно надо было позвать доктора, хотя въ этомъ не было никакой нужды. Игнатій Иванычъ согласился съ мнѣніемъ кухарки, и черезъ часъ явился докторъ.

Молодой человѣкъ ощупалъ пульсъ на рукѣ больного, измѣрилъ температуру, осмотрѣлъ языкъ и, задавши нѣсколько вопросовъ, пожалъ плечами и задумчиво проговорилъ:

— Вы, должно быть... У васъ, должно быть, была какая-нибудь непріятность?.. Ну, можетъ быть, вы испугались чего нибудь, или получили какое нибудь непріятное извѣстіе?

Игнатій Иванычъ молчалъ и вопросительно смотрѣлъ въ лицо доктора, стараясь по глазамъ его прочесть то, чего, казалось ему,—тотъ почему-то не договариваетъ.

— Вы очень мнительны, должно быть?.. вотъ что... — наконецъ, проговорилъ докторъ, стараясь сколько возможно спокойнѣе смотрѣть въ глаза больного:—Жарокъ то у васъ, дѣйствительно, есть, небольшой... Ну, да вѣдь—погода то нынче вонъ какая, долго-ли простудиться...

Докторъ распространился еще немного о гадкомъ петербургскомъ климатѣ и о погодѣ послѣднихъ дней; одобривъ лѣченіе малинкой, онъ преподалъ больному еще нѣсколько совѣтовъ и уѣхалъ. Послѣ отъѣзда доктора Игнатій Иванычъ немного успокоился, пообѣдалъ, не вылѣзая изъ подъ одѣяла, и легъ, обливаясь потомъ: малинка начала свое удивительное дѣйствіе.

Проснулся онъ только тогда, когда въ спальнѣ было совершенно темно, а изъ сосѣдней комнаты черезъ неплотно притворенную дверь падала узкая

полоска свѣта. Изъ зальца до слуха Игнатія Иваныча донесся сдержанный говоръ кухарки и еще чей-то тихій голосъ, по которому онъ скоро узналъ брата.

— Братъ! Порфирій! — негромко произнесъ больной.

— Ты что это, дѣйствительно заболѣлъ и даже доктора призывалъ?—спросилъ Порфирій Иванычъ, появившись въ дверяхъ спальной и поворачивая лицо въ ту сторону, гдѣ стояла кровать. Сзади Порфирія Иваныча шла кухарка съ лампой въ рукахъ.

— Абажуръ надѣнь! фу-ты! — нервно воскликнулъ онъ, но потомъ успокоился, когда раскраснѣвшееся лицо его потонуло въ тѣни.

— Ну, ужъ, доложу я тебѣ, и попали мы въ цѣль! Великолѣпно! Восхитительно!.. Съ Силинымъ мы почти уже до всего договорились, осталось только деньги вложить и начать новое дѣло... Нѣтъ, ты, Игнатій, и представить себѣ не можешь, какъ все это хорошо! Выгодно то какъ! Какой процентъ можно нажить, если дѣло расширить и новый магазинчикъ открыть!.. Мы покажемъ тогда всѣмъ этимъ «Конкордіямъ»!..

Замѣтивъ, что братъ ни звукомъ, ни жестомъ не отзывается на пламенную рѣчь, Порфирій Иванычъ склонился надъ постелью больного и, вытянувъ лицо, спросилъ:

— Ты что Игнатій, спишь?..

— Нѣтъ!—покойно отвѣтилъ тотъ.

— Что же ты ничего не скажешь?..

— Что же мнѣ сказать-то?..

— Какъ, что?..—изумился Порфирій Иванычъ, и въ голосѣ его послышались нотки неудовольствія:—Да ты согласенъ?.. Согласенъ ты вложить деньги въ это дѣло?

— Нѣтъ, не могу я...

— Почему?...

— Такъ, нездоровится мнѣ что-то...

— Позволь! да вѣдь это не вѣчно будетъ... Вонъ Дарья говоритъ, что былъ докторъ и сказалъ, что все это — пустяки, завтра ты будешь здоровъ...

— Нѣтъ...—не то: здоровъ я или нѣтъ...

— Ну, такъ что-же?.. — нетерпѣливо воскликнулъ Порфирій Иванычъ.

— А то, что я не могу вложить деньги въ это... Ну, въ такое дѣло! Не нравится оно мнѣ! Не могу я!

— Чудакъ, право! да не все-ли равно? Если не мы съ тобой, такъ кто же нибудь найдется и вступитъ въ компанію съ Силинымъ.

— Ну, пусть, кто хочетъ, тотъ и вступаетъ, а я не могу и не могу!..

Заслыша въ голосѣ брата раздраженіе не на шутку, Порфирій Иванычъ съ минуту помолчалъ, но потомъ твердо заявилъ:

— Ну, а я такъ рѣшилъ вступить съ Силинымъ въ компанію и вотъ, потомъ ты увидишь— какую рыбку выпустилъ изъ подъ самаго носа!..

Порфирій Иванычъ также вспылилъ и, твердо ступая по скрипучимъ половицамъ, прошелся по комнатѣ. Игнатій Иванычъ слѣдилъ за неуклюжей тѣнью брата, которая двигалась то по стѣнѣ, то по потолку, и думалъ о своемъ здоровьѣ, о докторѣ, силясь припомнить его послѣднія слова и сожалѣя, что далъ ему за визитъ только рубль, а за его слово утѣшенія можно бы было дать два и даже три рубля...

Порфирій Иванычъ немного посидѣлъ, побарабанилъ пальцами по ручкѣ кресла и, повторивъ еще разъ, что дѣлается компаньономъ Силина, ушелъ.

Въ эту ночь Игнатій Иванычъ долго не могъ заснуть, борясь съ невеселыми, еще никогда не испытанными имъ чувствами и настроеніями. Чудилось ему, что въ немъ, помимо воли, выросла и поднялась какая-то сила, и сила эта нудной тяжестью давитъ мозгъ и сердце... Смерть во всемъ чудилась ему, и это отравляло все его существованіе.

V.

Все, что было раньше обычнымъ въ жизни Игнатія Иваныча, измѣнилось съ этого непріятнаго визита къ гробовщику Силину. Еще никогда такъ властно и такъ продолжительно не овладѣвала имъ мысль о смерти. Каждая безпокойная и безсонная ночь не ободряетъ Игнатія Иваныча, начавшійся день ничего хорошаго не сулитъ, а будущая ночь, какъ только наступятъ сумерки, пугаетъ сходствомъ съ предыдущей, и кажется нервно разстроенному человѣку, что чѣмъ дальше— тѣмъ будетъ все хуже и хуже и, наконецъ, явится тотъ страшный итогъ всему, котораго онъ теперь такъ боится!..

Игнатій Иванычъ похудѣлъ и поблѣднѣлъ. Проснувшись утромъ послѣ короткой и тяжелой дремоты, поднималъ онъ отяжелѣвшія вѣки и печальнымъ взоромъ осматривался по сторонамъ. Какъ всегда, усаживался онъ за круглый столъ передъ диваномъ, пилъ чай съ лимономъ и развертывалъ чахлый листокъ уличной газеты. Чтеніе, впрочемъ, уже не интересовало его такъ, какъ раньше. Бывало, прежде всего онъ обращалъ вниманіе на то, какіе въ городѣ назначены аукціоны, торги и распродажи, далѣе его интересовалъ отдѣлъ биржи, справокъ, и иногда Игнатій Ивановичъ заглядывалъ въ рубрику описанія скачекъ,

при чемъ нерѣдко съ неудовольствіемъ прочитывалъ имена нѣкоторыхъ рысаковъ, напоминавшихъ ему его неудачи. А теперь, развернетъ онъ газету, посмотритъ для чего-то на число и нумеръ, потомъ отложитъ неинтересный лоскутъ бумаги въ сторону и погрузится въ мрачное размышленіе. Какъ гвоздь какой-то, ржавый и рѣжущій, сидитъ въ его мозгу одна и та же мысль. Съ напраснымъ желаніемъ отогнать ее, онъ усиленно вызываетъ воспоминанія прошлаго, но это прошлое было такъ бѣдно, плоско и блѣдно, что въ памяти не осталось ни одного штриха, который теперь остановилъ бы вниманіе.

Игнатій Иванычъ родился въ Петербургѣ, здѣсь же провелъ годы дѣтства и юности, учился въ коммерческомъ училищѣ, а потомъ началъ служить. За всю эту жизнь онъ ни разу не выѣзжалъ изъ столицы дальше Парголова, гдѣ жилъ когда то вмѣстѣ съ родителями, и дальше Сиверской, гдѣ когда-то отдыхалъ одиноко. За всю эту жизнь онъ дышалъ атмосферой петербургскихъ дѣльцовъ, сначала въ лицѣ покойнаго отца, потомъ въ лицѣ сослуживцевъ, знакомыхъ и тѣхъ многочисленныхъ кліентовъ банка, гдѣ служилъ. Получилъ онъ послѣ смерти отца наслѣдство, и только одно въ его жизни измѣнилось: онъ пересталъ служить въ банкѣ, ставши теперь уже и собственной персоной въ ряды кліентовъ. Денежныя дѣла, спекуляціи, торги и аукціоны остановили его вниманіе, и подъ руководствомъ смѣлаго брата Игнатій Иванычъ попалъ въ новую струю жизни; прошли какіе-нибудь полтора десятка лѣтъ такой жизни, и вся психика его перемѣнилась... И вдругъ теперь, когда въ банкѣ на имя Игнатія Ивановича лежитъ не одинъ десятокъ тысячъ рублей—онъ хилъ и блѣденъ и, хотя еще и не такъ

слабъ тѣломъ, но уже боленъ душой. И вотъ, цѣлые дни одиноко сидитъ Игнатій Иванычъ въ своей квартиркѣ стараго холостяка и борется съ тяжелой мыслью о жизни и смерти... Жизнь прожита вяло, однообразно и не интересно, если не считать тѣхъ моментовъ душевнаго подъема, когда что-нибудь удавалось въ области денежныхъ предпріятій; смерть — еще не испытанный источникъ, къ которому судьба толкаетъ слабаго Игнатія Иваныча, и вотъ-вотъ прикоснется онъ къ роковой чашѣ и уснетъ надолго... навсегда.

Почему это раньше только жизнь останавливала его вниманіе? Только она одна и влекла его, — и ограниченный, тупой дѣлецъ шелъ навстрѣчу ей и срывалъ ея цвѣты, подчасъ не распустившіеся, подчасъ увядшіе и всегда отвратительные, съ противнымъ запахомъ? Почему это раньше только деньги были божкомъ Игнатія Ивановича, а все остальное казалось идущимъ на поклоненіе этому божку? А теперь знакомое представленіе—смерть—стало живѣе и грознѣе, а старое ощущеніе — страхъ — отравляющимъ каждый длинный день скучной жизни?..

Игнатій Иванычъ вздрогнулъ и повернулъ лицо отъ стѣны, на которой до этого онъ разсматривалъ неуклюжій рисунокъ полинялыхъ и замазанныхъ обоевъ...

На столѣ, въ простѣнкѣ между оконъ, стояла лампа подъ зеленымъ абажуромъ, яркими пятнами отражаясь на полу и на потолкѣ и оставляя остальную часть комнаты въ полумракѣ. На комодѣ, между подсвѣчниками съ нетронутыми свѣчами, стоялъ круглый металлическій будильникъ, съ бѣлымъ циферблатомъ и съ медленно движущимися стрѣлками. Не разъ въ продолженіи вечера взглядъ Игнатія Иваныча останавливался

на этихъ черныхъ стрѣлкахъ; и на лицѣ его, при этомъ, отражалось выраженіе муки, по глазамъ же одержимаго безсонницею человѣка нельзя было прочесть никакой мысли: желалъ ли онъ, чтобы стрѣлки эти двигались скорѣе, или, наоборотъ, пусть онѣ медленно двигаются одна за другою, переползая съ одной цифры на сосѣднюю, замедляя всесокрушающее время и отдаляя страшный конецъ бытія...

Въ халатѣ, съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, Игнатій Иванычъ спустилъ ноги съ кровати, ощупалъ пальцами мягкія войлочныя туфли, опустилъ въ нихъ ноги, сталъ и тихо подошелъ къ часамъ. Стрѣлки показывали безъ четверти двѣнадцать. Глухая полночь—страшный мистическій моментъ! Съ дѣтскихъ лѣтъ внушали Игнатію Иванычу страхъ передъ этимъ таинственнымъ моментомъ, и вотъ, всѣ эти дни, онъ не можетъ заснуть, не можетъ потушить лампы, пока обѣ стрѣлки часовъ, слившись подъ самой верхней цифрой, немного передвинутся вправо, разойдутся и потомъ длинная перегонитъ короткую... Игнатій Иванычъ вздохнулъ и перешелъ къ столу. На сѣрой вязаной скатеркѣ, залитая свѣтомъ лампы, лежала толстая, старинная книга въ кожаномъ переплетѣ и съ пожелтѣвшими листами славянской печати. Эта единственная въ библіотекѣ Игатія Иваныча забытая книга, доставшаяся ему отъ отца, цѣлые годы лежала въ комодѣ съ бѣльемъ, и только теперь онъ извлекъ ее оттуда, и, когда на душѣ пусто и мрачно, и необъяснимый страхъ смущаетъ ее, — Игнатій Иванычъ раскрываетъ забытую книгу, перелистываетъ толстыя, пожелтѣвшія отъ времени, страницы и ищетъ слова успокоенія и радости.

Когда-то давно — давно, чужіе, неизвѣстные

ему люди цѣлые вѣка прожили въ невѣдомой землѣ, скитаясь въ поискахъ счастья по знойнымъ пустынямъ подъ палящими лучами солнца... Мощныя величавыя фигуры людей выступаютъ изъ тьмы временъ, а Игнатій Иванычъ, слабый и жалкій человѣкъ, ищетъ себѣ покоя на страницахъ исторіи этихъ большихъ людей и остается глухимъ къ живому слову; книга нѣма для него...

Черствый и ограниченный дѣлецъ, посвятившій всю свою жизнь золотому тельцу, онъ заглушилъ въ себѣ всѣ лучшія чувства и мысли... Когда то, въ школѣ, ему навязали готовыя мысли изъ другой вѣчной книги, и онъ безсознательно воспринялъ ихъ, а потомъ, когда не одно десятилѣтіе отдѣлило его отъ школы — онъ забылъ, что ему говорили когда-то; и жилъ человѣкъ съ затасканными правилами жизни, дѣлая то, что дѣлаютъ другіе, такъ-же, какъ и они — слѣпо... А когда страшный призракъ смерти напомнилъ о себѣ, и отъ жизни повѣяло холодомъ и могилой, въ сердцѣ не оказалось ободряющаго чувства, въ головѣ не нашлось руководящей мысли...

И Игнатій Иванычъ закрылъ забытую книгу и опустилъ на руки отяжелѣвшую голову...

Вмѣстѣ съ уединеніемъ отъ жизни и ея тревогъ Игнатій Иванычъ сдѣлался религіознымъ, почти каждый день посѣщалъ церковь, терпѣливо выстаивалъ богослуженіе, а возвращаясь домой, предавался религіознымъ размышленіямъ и читалъ библію. Въ зальцѣ и въ спальнѣ дни и ночи горѣли неугасаемыя лампады; кухарка съ удовольствіемъ ухаживала за ними, подливая масла, а Игнатій Иванычъ по ночамъ скорѣе засыпалъ въ блѣднокрасныхъ лучахъ мерцающаго пламени. Иногда по вечерамъ онъ бесѣдовалъ со старушкой, въ надеждѣ найти въ ея невѣжественной душѣ

отклики своимъ духовнымъ запросамъ, и скучный вечеръ тянулся не такъ замѣтно. На всѣ религіозныя и подчасъ туманныя разсужденія Игнатія Иваныча старушка кивала головою и однотонно повторяла:

— И-и! Игнатій Иванычъ! Никто, какъ Богъ! Никто, какъ Богъ.

Съ братомъ Игнатій Иванычъ видѣлся рѣдко. Въ началѣ Порфирій Иванычъ заходилъ къ нему нѣсколько разъ, заводя разговоръ на тему о своемъ новомъ предпріятіи, попрежнему стараясь склонить брата на участіе въ совмѣстной работѣ, но потомъ ему пришлось отказаться отъ попытокъ, и Порфирій Иванычъ посѣщалъ брата лишь для того, чтобы справиться о его здоровьѣ.

Великимъ постомъ одинъ новый знакомый Игнатія Иваныча, старикъ монахъ, посовѣтовалъ ему съѣздить въ Новгородъ, помолиться и поговѣть въ одномъ изъ монастырей. Игнатій Иванычъ послушался совѣта монаха и, вернувшись изъ монастыря покаявшимся, немного успокоился...

Вскорѣ послѣ возвращенія Игнатія Иваныча, къ нему зашелъ братъ и долго бесѣдовалъ. Игнатій Иванычъ разсказывалъ о подробностяхъ своей поѣздки, о монастырѣ и о жизни монаховъ; съ особеннымъ воодушевленіемъ разсказывалъ онъ о томъ, какъ живутъ схимники, проводя день въ постѣ и молитвѣ.

— Ужъ ты и самъ не надумалъ ли въ монастырь?—съ скрытымъ безпокойствомъ спрашивалъ Порфирій Иванычъ.

— Нѣтъ, ужъ куда намъ съ тобой, съ грязными то душами! А вотъ посмотрѣть на нихъ, на ихъ праведную жизнь, помолиться, да и...

— Ну что «да и»?..

— Да и умереть въ мирѣ и благочестіи, — докончилъ Игнатій Иванычъ.

— Ну-у! пошелъ опять! Подожди, успѣешь умереть-то! Вѣчно живъ не будешь, — возражалъ Порфирій Иванычъ. Его вдругъ осѣнила страшная мысль, отъ которой ему стало даже не по себѣ. «А вдругъ,—подумалъ Порфирій Иванычъ,—уйдетъ братъ въ монастырь и денежки всѣ тамъ съ нимъ ухнутъ: пожертвуетъ на что-нибудь тамъ...»

Порфирій Иванычъ повернулся на стулѣ и заговорилъ громко и воодушевленно. Отстранивъ непріятную для себя тему о монастырѣ, онъ старался заинтересовать брата другимъ, рисуя передъ нимъ будущее полнымъ успѣха на поприщѣ денежныхъ предпріятій, но Игнатій Иванычъ оказался плохимъ собесѣдникомъ.

Какъ то разъ Порфирій Иванычъ пришелъ къ брату возбужденный и разговорчивый больше, чѣмъ когда либо. Игнатій Иванычъ встрѣтилъ его съ обычнымъ мрачнымъ выраженіемъ въ глазахъ.

— Что-то ты сегодня сіяющій? — только и спросилъ хозяинъ у гостя.

— А у тебя такъ, братъ, «носъ на квинту!» А это куда хуже! Заживо ты себя погребаешь!

Игнатій Иванычъ еще больше нахмурился и отвернулся къ стѣнкѣ, натягивая на себя полы халата.

Порфирій Иванычъ посмотрѣлъ на спину брата, на его лоснящуюся красную шею и, улыбнувшись, спросилъ:

— Ты, какъ будто, и не радъ моему приходу?

— Почему ты думаешь? — послѣ паузы спросилъ Игнатій Иванычъ:—не люблю только я, когда ты вотъ съ такой сіяющей физіономіей.

Мнимо больной повернулся на лѣвый бокъ и пристально посмотрѣлъ въ лицо брата.

— Но позволь... съ чего же мнѣ-то приходить въ уныніе?..—съ недоумѣніемъ произнесъ Порфирій Иванычъ и развелъ руками...—Впрочемъ, дѣло не въ этихъ разговорахъ. Пришелъ я къ тебѣ, чтобы поднять тебя съ постели, да встряхнуть получше, чтобы ты хоть немножко на человѣка походилъ...

Порфирій Иванычъ пересѣлъ на постель брата и, обхвативъ его за талію, началъ:

— Дѣло, братъ, отыскалось новое! Слышишь. Мы съ Петромъ Флегонтычемъ устраиваемъ складъ велосипедовъ, пишущихъ машинъ... ну, тамъ и другихъ разныхъ новѣйшихъ изобрѣтеній... По-братски съ удовольствіемъ бы я принялъ тебя въ компаньоны, ты скоро и самъ убѣдишься, какъ это выгодно... Понимаешь, товаръ этотъ идетъ страсть какъ!

Порфирій Иванычъ немножко помолчалъ, какъ бы ожидая отвѣта со стороны брата и, недождавшись, продолжалъ:

— Ну, я понимаю... Положимъ, не въ твоемъ духѣ гробами торговать, такъ вѣдь и другія дѣла есть!.. А то, посмотри на себя—жалость смотрѣть! Ханжей какой то сдѣлался ты, по монастырямъ разъѣзжаешь. Не могу же я смотрѣть на это хладнокровно!..

Расправивъ кисточку пояса, которымъ былъ опоясанъ братъ, Порфирій Иванычъ помолчалъ съ секунду и снова продолжалъ:

— Я не сейчасъ увлекаю тебя въ компанію, а вотъ—погоди, присмотрись къ тому, что мы будемъ дѣлать, тогда и разсуди. Недѣльки черезъ двѣ будетъ готово помѣщеніе, и мы начнемъ свое дѣло. Магазинъ, братъ, чудеснѣйшій сняли, на Литейной, недалеко отъ Невскаго... Товары у насъ

будутъ хорошіе... а вѣдь нынче какъ торгуютъ этими велосипедами, да машинами разными!.. Ха-ха-ха!..—разсмѣялся Порфирій Иванычъ: — совсѣмъ скоро люди разучатся и ходить и писать, а все, знаешь-ли, машины будутъ: вмѣсто ногъ— машины, вмѣсто рукъ—машины, и вмѣсто головы еще какую нибудь штуку придумаютъ!

Порфирій Иванычъ долго еще говорилъ на тему новыхъ изобрѣтеній и предпріятій, по обыкновенію увлекаясь и рисуя передъ братомъ новыя соблазнительныя перспективы дѣятельности и новые источники наживы, но Игнатій Иванычъ казался непоколебимымъ въ своемъ созерцаніи жизни и смерти. Наконецъ, Порфирій Иванычъ всталъ съ намѣреніемъ уйти.

— Вотъ что, Игнатій, подумай ты тутъ на досугѣ, а потомъ и скажи твое рѣшеніе: черезъ нѣсколько дней я побываю у тебя... Ну, прощай!

Порфирій Иванычъ пожалъ руку брата, подошелъ къ двери и, останавливаясь у порога, добавилъ:

— Черезъ двѣ недѣли, въ воскресенье, у насъ въ новомъ магазинѣ молебствіе по случаю открытія... Непремѣнно приходи... Слышишь, Игнатій!..

— Можетъ быть,—тихо отвѣтилъ тотъ.

Порфирій Иванычъ сообщилъ брату адресъ новаго магазина и ушелъ. Въ первую минуту послѣ его ухода Игнатій Иванычъ хотѣлъ было вернуть брата и нѣсколько подробнѣе распросить его объ условіяхъ новаго предпріятія, но потомъ его что-то удержало отъ этого намѣренія, и онъ остался въ постели, съ которой не вставалъ цѣлыми днями.

Въ сущности, острый характеръ мизантропіи, въ которую впалъ предрасположенный къ этой болѣзни духа Игнатій Иванычъ, миновалъ, и онъ переживалъ теперь какую-то тихую душевную

грусть: словно онъ недавно утратилъ что-то дорогое и теперь не знаетъ, что съ собою дѣлать— искать ли новыхъ предметовъ увлеченія, или оплакивать старые, которыхъ уже нѣтъ?—Призывъ брата участвовать въ какомъ-то соблазнительномъ новомъ предпріятіи ободрилъ Игнатія Иваныча, и теперь, сидя по вечерамъ и все еще грустя, онъ нерѣдко задумывался и объ этомъ «новомъ», о которомъ такъ увлекательно говорилъ братъ; порой онъ даже досадовалъ, что такъ медленно движется время, и день освѣщенія новаго магазина такъ далекъ!

Наконецъ, день этотъ наступилъ. Въ воскресенье, часу въ двѣнадцатомъ утра, Игнатій Иванычъ отправился на Литейную, и въ заново отдѣланномъ помѣщеніи засталъ уже начавшееся богослуженіе. Недалеко отъ священника и діакона, облаченныхъ въ свѣтлыя ризы, стоялъ Порфирій Иванычъ въ новомъ сюртукѣ и въ бѣломъ галстухѣ, а немного поодаль виднѣлась чистенькая кругленькая фигурка Силина. Петръ Флегонтычъ былъ также въ сюртукѣ, въ бѣломъ галстухѣ и въ рукѣ держалъ громадный неуклюжій цилиндръ. Всюду въ помѣщеніи магазина были разложены и разставлены товары. У стѣны, налѣво, какъ войско во фронтѣ, стояли велосипеды разныхъ системъ, на прилавкахъ и на столахъ виднѣлись пишущія машины и какіе то, еще незнакомые Игнатію Иванычу, приборы и инструменты. Свѣтлое облаченіе на священнослужителяхъ, чисто на чисто выбѣленныя стѣны и потолокъ, вылощенный полъ, блестящіе новенькіе велосипеды и машины, наконецъ, сіяющія физіономіи Порфирія Иваныча и Силина и какихъ то дамъ, нарядно одѣтыхъ,— отъ всего этого вѣяло чѣмъ то праздничнымъ, радостнымъ и веселымъ, поднимая и въ душѣ

Игнатія Иваныча какія то, давно не испытанныя, чувства. Съ благоговѣніемъ присутствуя на богослуженіи, онъ усердно молился, прося у Бога ниспосланія благодати брату на пути его новой дѣятельности. Прикладываясь къ кресту въ рукахъ батюшки, Игнатій Иванычъ съ какимъ то радостнымъ и трепетнымъ чувствомъ вытянулъ свое лицо и на мгновеніе закрылъ глаза, когда прохладная «святая» вода оросила его лицо, залитое краской возбужденія. Прослезившись, онъ расцѣловался съ братомъ, когда кончилось молебствіе, и съ чувствомъ пожалъ громадную руку Петра Флегонтыча. Послѣ молебствія всѣ присутствовавшіе на открытіи магазина, не исключая батюшки и діакона, отправились къ Порфирію Иванычу на завтракъ.

VI.

Игнатій Иванычъ возродился. Прежняя необъяснимая тоска, заполнявшая его душу, смѣнилась покоемъ и довольствомъ жизнью; страхъ передъ таинственнымъ призракомъ смерти уступилъ мѣсто жаждѣ жизни, и онъ, подстрекаемый неутомимымъ братомъ, примкнулъ къ новому предпріятію, пріобщивъ къ капитилу брата и Силина двѣ тысячи рублей. Теперь, вставая утромъ, онъ уже не хандрилъ и не нылъ, какъ это было еще такъ недавно, а, напротивъ, съ юношеской торопливостью спѣшилъ напиться чаю, пробѣгая листокъ любимой уличной газеты, и отправлялся на Литейную. Спѣшно шагая по шумному проспекту, онъ издали засматривался на громадную вывѣску надъ дверями магазина и любовался толпою зѣвакъ, столпившихся у оконъ его новаго храма возрожденія.

Порфирій Иванычъ не скрывалъ ни отъ себя, ни отъ другихъ того удовольствія, съ какимъ

онъ хвастался, что ему удалось обновить тусклую и неинтересную жизнь брата. Впрочемъ, и въ жизни этого предпріимчиваго человѣка не мало измѣнилось. Началось съ того, что гробовую мастерскую, въ которой по-прежнему орудовалъ онъ вмѣстѣ съ Силинымъ, пришлось перевести съ глухой роты полка на одну изъ шумныхъ улицъ, пришлось также расширить и обновить магазинъ, и дѣла фирмы «П. И. Петрушкина и П. Ф. Силина» пошли блестяще на зависть другимъ предпринимателямъ по производству гробовъ. Трудъ между Петрушкинымъ и Силинымъ распредѣлялся такъ: Силинъ, какъ опытный гробовщикъ, завѣдывалъ мастерской, а Порфирій Иванычъ управлялъ магазиномъ, принималъ заказы на гроба, нерѣдко посѣщая квартиры новопреставленныхъ, чтобы снять мѣрку; на немъ же лежалъ трудъ рекламированія мастерской по случаю перевода ея на новое мѣсто; Игнатій Иванычъ завѣдывалъ складомъ велосипедовъ и другихъ «новѣйшихъ изобрѣтеній».

Игнатій Иванычъ глубоко благодарилъ брата за то, что тотъ помогъ ему раздѣлаться съ тяжелыми размышленіями о жизни и смерти. Жизнь казалась ему теперь еще дороже и краше, нежели всѣ эти безпокойныя замыканія въ самомъ себѣ и мрачныя размышленія, лишающія его сна, аппетита и дѣлающія каждый грядущій день повтореніемъ минувшаго, едва пережитаго. И все это измѣнилось, благодаря такому, въ сущности, невинному обстоятельству.

Никогда еще Игнатій Иванычъ не былъ обладателемъ недвижимой собственности—земли, дома или магазина. Деньги онъ имѣлъ, но это было какое-то кристаллизованное, незамѣтное для другихъ богатство, которое и сберегалось-то тамъ

гдѣ то, въ чужихъ сундукахъ и охранялось чужой заботливостью. А теперь, подходя къ складу велосипедовъ и другихъ новѣйшихъ изобрѣтеній, онъ любовался громадной вывѣской съ собственной фамиліей, правда, рядомъ еще съ фамиліей какого-то Силина, но зато онъ собственными глазами видѣлъ начертанные золотомъ по темно-коричневому фону иниціалы собственнаго имени и отчества. Въ немъ вдругъ проснулась необъяснимая и необыкновенная жажда владѣть, — владѣть чѣмъ нибудь такимъ, что было бы замѣтно и для другихъ, и чтобы его имя связывалось во-едино съ этимъ очевиднымъ и осязаемымъ богатствомъ; въ немъ день за днемъ разгоралась жажда имѣть много земли или выстроить большой-большой домъ, рента съ которыхъ давала бы ему тотъ процентъ на капиталъ, ради котораго влачилась вся его скучная и неинтересная жизнь. Магазинъ на Литейной сталъ теперь его единственнымъ предметомъ вниманія и ежедневныхъ попеченій. Съ утра до поздняго вечера онъ почти безвыходно сидѣлъ въ магазинѣ, поджидая покупателя, который представлялся ему дорогимъ неизмѣннымъ другомъ. Когда этотъ неизмѣнный другъ не являлся, а длинные часы ожиданій становились скучными, онъ расхаживалъ по магазину, разсматривая подробности нѣкоторыхъ товаровъ, съ особеннымъ любопытствомъ останавливаясь на сложномъ механизмѣ пишущихъ машинъ, или вступалъ въ разговоры съ приказчиками, стараясь внушить имъ правила обращенія съ покупателемъ. Оставаясь одинокимъ все въ той же крошечной квартиркѣ, свидѣтельницѣ недавнихъ мучительныхъ размышленій и тяжелыхъ настроеній, Игнатій Иванычъ предавался теперь уже другимъ размышленіямъ. За вечернимъ чаемъ онъ просматривалъ, обыкно-

венно, торговыя книги магазина, затѣмъ рылся въ грудѣ различнаго рода каталоговъ, занимался сравненіемъ цѣнъ на товары, или по нѣскольку разъ перечитывалъ письма заказчиковъ, этихъ далекихъ друзей неизвѣстной ему провинціи...

И только изрѣдка, послѣ дня труда и заботъ, когда Игнатій Иванычъ ложился въ постель и тушилъ свѣчу, его покой смущали непріятныя размышленія. Невольно прислушиваясь къ тишинѣ ночи, начиналъ онъ, обыкновенно, съ упрековъ по собственному адресу за прошлые, такъ безплодно прожитые годы. Если-бы онъ послушался отца, когда тотъ незадолго до смерти выражалъ дѣтямъ свою послѣднюю волю, поучая ихъ «не тушить деньги, а пускать ихъ въ водоворотъ дѣлъ»,—теперъ онъ, навѣрно, былъ бы замѣтнымъ человѣкомъ и виднымъ богачемъ въ городѣ. Чѣмъ дальше упрекалъ онъ самого себя за эту непоправимую ошибку, тѣмъ больше завидовалъ брату, капиталъ котораго увеличился въ пять или въ шесть разъ, а когда то они получили поровну, всего-то по семи съ половиною тысячъ! И, можетъ быть, онъ былъ бы теперь и богатъ и знатенъ, если-бы слушался Порфирія Иваныча и не относился скептически къ его замысламъ и «американскому» способу бросанья своихъ денегъ въ водоворотъ риска.

— Ну, что, Игнатій, правду я говорилъ тебѣ— слушайся. слушайся!—Вотъ ты скоро убѣдишься, что я правъ,—началъ какъ-то Порфирій Иванычъ, зайдя вмѣстѣ съ братомъ въ ресторанъ позавтракать. — Дѣла наши по складу идутъ прекрасно! Всѣ расходы по отдѣлкѣ магазина и тамъ, другіе, разные — давно покрыты. Ежемѣсячный расходъ также покрывается съ лихвой!..

Игнатій Иванычъ молча слушалъ брата и въ

тайнѣ благодарилъ его за все, за все. Наговоривъ еще не мало на тему о преуспѣваніи дѣлъ, Порфирій Иванычъ выпилъ рюмку рябиновки, внимательно посмотрѣлъ въ лицо брата и, немного понизивъ голосъ, таинственно продолжалъ:

— Можетъ быть, сегодня здѣсь мы повстрѣчаемся съ однимъ господиномъ... Недавно я съ нимъ познакомился, — интересный, шельма!.. Онъ просилъ меня познакомить также его съ тобою...

Игнатій Иванычъ поднялъ глаза и съ любопытствомъ посмотрѣлъ на брата.

— Онъ, видишь-ли, разными дѣлами занимается, биржевыми, комиссіонными, ну, и другими... Видимо, и деньги у него водятся...

— Но позволь... Зачѣмъ же я ему понадобился?—недоумѣвающе спрашивалъ Евгеній Иванычъ.

— Чудакъ ты, право! да вѣдь это всѣ такъ дѣлаютъ: въ нашемъ дѣлѣ чѣмъ больше знакомыхъ—тѣмъ больше рублей... Ха-ха! наивный ты, братъ!.. Дитя какое-то!..

Игнатій Иванычъ обидѣлся и замолчалъ. Въ этотъ разъ ему не удалось познакомиться съ таинственнымъ дѣльцомъ, но онъ не особенно жалѣлъ объ этомъ.

— Между прочимъ, онъ приглашаетъ всѣхъ насъ вступить въ товарищество и открыть велодромъ... — продолжалъ Порфирій Иванычъ, когда вмѣстѣ съ братомъ вышелъ на улицу.

— Велодромъ?..

— Да, дѣло это прекрасно пойдетъ, если его умѣло поставить... Я былъ какъ то разъ въ Москвѣ; дѣла у нихъ тамъ шли блестяще; а эти велосипедисты народъ — ой-ой какой!.. Всѣ, вѣдь, они папенькины да маменькины сынки, съ шальными деньгами...

По обыкновенію, Порфирій Иванычъ увлекся и этой темой, и чего-чего только не наговорилъ онъ!

Трудно было сказать, какова профессія Дормидонта Сидорыча Перушкина. Всегда онъ былъ прилично одѣтъ въ модное платье и тщательно выбритъ, носилъ модный цилиндръ, курилъ сигары изъ коротенькаго янтарнаго мундштука съ золотымъ ободкомъ; на цвѣтномъ жилетѣ, прикрывавшемъ его жирный отвисшій животъ, постоянно бряцала массивная золотая цѣпь съ брелоками. На полномъ мясистомъ лицѣ Дормидонта Сидорыча было всегда одно и то же выраженіе чувства собственнаго достоинства и безмятежнаго покоя; говорилъ онъ не громко, но убѣдительно.

Порфирій Иванычъ познакомился съ нимъ гдѣ-то случайно. Сначала толстякъ произвелъ на него безразличное впечатлѣніе, но потомъ, когда рѣчь зашла о дѣлахъ, Порфирій Иванычъ сообразилъ, что человѣкъ этотъ интересный, и, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, его повлекло къ новому знакомому, какъ къ человѣку нужному. Порфирій Иванычъ поспѣшилъ, конечно, познакомить съ этой находкой и товарищей своихъ— брата и Силина.

Какъ то разъ, послѣ утомительной бѣготни по дѣламъ, Игнатій Иванычъ зашелъ къ Доминику выпить рюмку водки и закусить. Это былъ часъ, когда ресторанъ, обыкновенно, переполненъ дѣловой публикой. Потолкавшись у буфета, Игнатій Иванычъ запасся кулебякой, отыскалъ незанятый круглый столикъ и усѣлся возлѣ него. Вдругъ неожиданно увидѣлъ онъ Дормидонта Сидорыча. Толстякъ сидѣлъ у такого-же столика съ газетой въ рукахъ и со сдвинутымъ на затылокъ цилиндромъ. Въ желтыхъ зубахъ держалъ онъ неизмѣн-

ный янтарный мундштукъ и немилосердно дымилъ сигарой. Передъ нимъ на столикѣ стоялъ на половину опорожненный бокалъ съ пивомъ и остатки завтрака...

— Дормидонтъ Сидорычъ. нельзя ли мнѣ около васъ примоститься? — началъ Игнатій Иванычъ, отрывая знакомаго отъ газеты.

— А-а! Игнатій Иванычъ! пожалуйста!.. Здравствуйте!..—воскликнулъ тотъ, пожимая руку знакомаго и уступая ему мѣсто рядомъ.

Толстякъ отложилъ газету въ сторону, попыхалъ сигарой и началъ разспрашивать собесѣдника о городскихъ новостяхъ и о дѣлахъ. Игнатій Иванычъ разсуждалъ о своихъ дѣлахъ съ замѣтной уклончивостью, отдѣлываясь больше общими фразами и пытливо разглядывая узенькіе заплывшіе глазки Дормидонта Сидорыча.

— Зашелъ я сюда, знате-ли, какъ всегда— позавтракать: думалъ — кого-нибудь встрѣчу, да вотъ на этомъ и пришлось порѣшить. — Онъ указалъ рукою на пиво и на блюдце съ остатками кулебяки и продолжалъ: — Можетъ быть, мы съ вами перейдемъ въ ту комнату, да какъ слѣдуетъ и позавтракаемъ?..

Игнатій Иванычъ посмотрѣлъ на часы, подумалъ и отвѣчалъ:

— Пожалуй... недолго только — въ магазинъ тороплюсь...

— Успѣете. У васъ тамъ дѣло на всѣхъ парахъ... Какъ-то на-дняхъ я заходилъ къ вамъ, да не засталъ...

— Да, мнѣ говорили...

Оба поднялись и перешли въ сосѣднюю комнату. Здѣсь они не сразу отыскали мѣсто: Дормидонту Сидорычу хотѣлось непремѣнно усѣсться за столикъ вдвоемъ, а такое мѣстечко нашлось

не сразу. Наконецъ, они усѣлись у окна и начали бесѣду. Первымъ заговорилъ Дормидонтъ Сидорычъ и, очевидно, уже на тему, заранѣе обдуманную.

— Мы какъ то говорили съ вами относительно велодрома,—началъ онъ: — дѣло это давно улыбалось мнѣ, затрудняюсь я только въ томъ, какъ бы это осуществить... Мнѣ одному-то прямо таки трудно начать, дѣло это требуетъ денегъ...

— Да, дѣло сложное, — соглашался и Игнатій Иванычъ.—Только что-же... если бы быть увѣреннымъ, что дѣло пойдетъ хорошо—такъ отчего бы и не попробовать...

— У меня тутъ наклевывается одна очень интересная комбинація, — прерывая собесѣдника, началъ Дормидонтъ Сидорычъ: — У одного моего знакомаго, видите-ли, есть усадебное мѣстечко на Пескахъ... Постройки-то тамъ не важныя: деревянный домъ и флигель; а мѣсто... главнымъ образомъ, мѣсто хорошее: на видной улицѣ и недалеко отъ Невскаго... Онъ не прочь бы и продать его, да, видите-ли, связанъ онъ нѣкоторыми обязательствами — заложена она, усадьба то, и всего за пять тысячъ рублей... Я бы и одинъ перехватилъ это мѣстечко-то, да что потомъ дѣлать?.. А мѣсто хорошее—двадцать пять саженъ на улицѣ, да тридцать во дворѣ...

Дормидонтъ Сидорычъ говорилъ тихимъ и вкрадчивымъ голосомъ, боясь высказать больше того, что было необходимо, чтобы заинтересовать новаго человѣка.

Благодаря своей опытности, онъ угадалъ, что Игнатій Иванычъ не то, что его братъ Порфирій. Опытному дѣльцу еще при первомъ знакомствѣ показалось, что этого «увальня» легче обойти, нежели того «орла» и «доку»; о Силинѣ Дорми-

донтъ Сидорычъ и не думалъ. Дѣла, которыми онъ занимался, были таковы, что приходилось употреблять въ помощь всякаго рода ухищренія и обходы, что можно дѣлать только въ сношеніяхъ съ недалекими или начинающими дѣльцами. Замѣтилъ онъ также, что Игнатій Иванычъ жаденъ до денегъ, а соединеніе этихъ двухъ качествъ— жадности и слѣпоты — не разъ помогало дѣльцу въ его темныхъ дѣлишкахъ.

— А какъ вы думаете — не дорого продастъ усадьбу вашъ знакомый? — наконецъ, спросилъ Игнатій Иванычъ, долго удерживаясь отъ этого вопроса.

— Нѣтъ, дорого не возметъ... — Дормидонтъ Сидорычъ слегка склонился къ собесѣднику и таинственно добавилъ: — дѣла у него не важныя, только бы усадьбу съ рукъ сбыть... Долговъ— видимо-невидимо.

— Заинтересовавшись сообщеніемъ новаго знакомаго, Игнатій Иванычъ просилъ его назначить свиданіе здѣсь же или еще гдѣ нибудь. Къ себѣ онъ никого не рѣшался звать, немного стѣсняясь за обстановку своей квартиры, гдѣ-то на Петербургской сторонѣ, въ глухой улицѣ, во второмъ дворѣ. Порфирій Иванычъ давно совѣтовалъ брату перемѣнить квартиру, переселиться въ городъ и обставить новое жилье такъ, чтобы можно было, не краснѣя, принимать дѣловыхъ людей.

— Намъ, голубчикъ, надо показывать себя не замарашками, — наставительно говорилъ когда-то Порфирій Иванычъ: — квартира, костюмъ и вся вообще внѣшность, — все это — великая вещь въ нашемъ дѣлѣ. На виду сталъ — такъ будь, братъ, виднымъ. Кредиторъ — созданіе чистоплотное, любитъ онъ, что бы все было чисто, красиво, богато... Вотъ сколько я говорю тебѣ — купи ци-

линдръ! Сбрось ты этотъ поганый котелокъ!.. Опять-же часики получше бы завелъ, да и цѣпочку-то, чтобы не краснѣть за нее...

Вспомнивъ наставленіе брата, Игнатій Иванычъ вынулъ изъ кармана жилета недавно пріобрѣтенные золотые часы съ толстой цѣпью, и, громко щелкнувъ крышкой ихъ, проговорилъ:

— Пора... пора...

Черезъ часъ Дормидонтъ Сидорычъ сидѣлъ въ громадномъ и мрачномъ кабинетѣ купца Чиркина и съ улыбкой на устахъ повторялъ:

— Этотъ не ускользнетъ! Нѣтъ, не ускользнетъ: я обставлю его... Вотъ тогда вы, Иванъ Иванычъ, перестанете говорить, что я менѣе опытенъ, чѣмъ вашъ другъ Терентьевъ...

Купецъ Чиркинъ, человѣкъ съ сѣдой лысой головой и выпяченнными впередъ скулами, побарабанилъ пальцами по кипѣ какихъ то бумагъ и грубо спросилъ:

— Кто онъ такой?..

— Кто его знаетъ. Два брата ихъ: одинъ жохъ порядочный, не скоро его обойдешь, ну, а этотъ— податливъ, а главное жаденъ, — счастливо улыбаясь, говорилъ Дормидонтъ Сидорычъ, съ лаской посматривая въ глаза своего патрона.

— Что же, дѣйствуйте, что обѣщалъ — то и получите,—говорилъ купецъ дѣловито:—Смотрите, только скорѣе все это обдѣлайте, потому—деньги мнѣ нужны, да и онъ то, чтобы не прозрѣлъ... Главное, отъ этого, братца-то его, пооберегайте: только съ дуракомъ и можно оборудовать это дѣло...

Дормидонтъ Сидорычъ ушелъ отъ Чиркина, увѣряя послѣдняго, что дѣло оборудуетъ, какъ слѣдуетъ, и на другой день, утромъ, зашелъ въ магазинъ на Литейной съ намѣреніемъ переговорить съ Игнатіемъ Иванычемъ.

— Случайно встрѣтился вчера съ этимъ знакомымъ, у котораго мѣсто-то на Пескахъ, — началъ онъ, пожимая руку Игнатія Иваныча и отводя его къ окну, какъ бы для того, чтобы ихъ разговоръ не подслушали служащіе магазина: — Дѣло у насъ уладится, только надо мнѣ завтра, или какъ нибудь на недѣлѣ увидѣться съ вами и переговорить кое о чемъ. Только попрошу васъ — держите все это между нами, потому—дѣло выгодное, сейчасъ-же налетятъ коршуны, а этакъ... тихимъ-то манеромъ, безъ конкуренціи, лучше...

Толстякъ говорилъ такимъ глубоко таинственнымъ голосомъ, что эта таинственность сообщилась и Игнатію Иванычу. Они условились завтра же повстрѣчаться у Доминика и разошлись.

VII.

Солидный съ виду и дѣловитый Дормидонтъ Сидорычъ произвелъ самое выгодное впечатлѣніе на Игнатія Иваныча. Его важная манера держать себя, безукоризненный костюмъ, перстни на рукахъ, дорогіе часы, массивные серебряные портсигаръ и портмоне, палка съ какимъ-то причудливымъ набалдашникомъ,—все это такъ импонировало и внушало неотразимое впечатлѣніе...

Какъ дитя, тайно радовался Игнатій Иванычъ при мысли, что перехитрилъ и брата и Силина, какъ ни хвастались они своей изворотливостью въ дѣлахъ. Главное же, что радовало его, это увѣренность, что наконецъ-то онъ сдѣлается обладателемъ того осязаемаго богатства, какое представлялось ему въ видѣ какой бы то ни было недвижимости, и богатствомъ этимъ завладѣетъ онъ, помимо вліянія и стараній брата, самостоятельно.

Во все время пути до ресторана онъ раздумы-

валъ на эту тему и, медленно двигаясь по солнечной сторонѣ Невскаго, счастливо улыбался. Ему представлялось, что, купивши усадебное мѣсто, онъ разстанется съ мыслью о велодромѣ и начнетъ хлопотать о постройкѣ дома, что и солиднѣе и выгоднѣе. У него не мало было знакомыхъ домовладѣльцевъ, благосостояніе которыхъ упрочено за счетъ бездомныхъ обитателей столицы, покорныхъ всесокрушающей десницѣ домовладѣльца. Извѣстно всѣмъ также, какъ созидаются эти многоэтажные дома хорошо испытанными путями займа, залога, перезалога и т. п. Игнатій Иванычъ не разъ бесѣдовалъ съ такими строителями, благодаря этому вѣрному пути стяжавшими себѣ почетъ и уваженіе, а онъ могъ бы рискнуть на это, располагая не однимъ дсяткомъ тысячъ рублей...

Дормидонту Сидорычу пришлось ожидать Игнатія Иваныча нѣсколько минутъ. Дѣлецъ казался необыкновенно веселымъ и возбужденнымъ. Непринужденно смѣясь, онъ предложилъ другу рюмку коньяку, на что тотъ охотно согласился. Аппетитно прожевывая какую то лакомую закуску, Дормидонтъ Сидорычъ говорилъ:

— Ну, теперь въ путь... Мы позавтракаемъ у Лейнера, а потомъ уже и дальше... Не забывайте, Игнатій Иванычъ, сегодня я распоряжаюсь!—подбадривалъ товарища толстякъ.

Въ первоклассномъ ресторанѣ Дормидонтъ Сидорычъ заказалъ обильный явствами завтракъ и попросилъ подать лучшее вино.

— Вотъ мы съ вами отсюда прямо и отправимся къ тому, моему знакомому. Я уже предупредилъ его, и онъ будетъ ждать... Ему очень пріятно съ вами познакомиться... — смѣло началъ Дормидонтъ Сидорычъ, подливая вино въ стаканъ

собесѣдника.—Дѣло, знаете сами, важное, и медлить тутъ нечего... Если съ вашей стороны не будетъ особенной проволочки, то это дѣло мы втроемъ скоро оборудуемъ...

Дѣлецъ отпилъ нѣсколько глотковъ вина и лукаво продолжалъ:

— Если вамъ почему либо покажется невыгоднымъ вступить въ покупку одному, то я къ вашимъ услугамъ, свободныя деньги у меня есть...

— Нѣтъ, почему же!.. Если онъ не очень будетъ дорожиться, то я и одинъ могу, — заявилъ Игнатій Иванычъ и немного омрачился, испугавшись за такой нежелательный исходъ, и въ эту минуту ему страстно захотѣлось поспѣшить къ знакомому Дормидонта Сидорыча и скорѣе вступить въ переговоры. Съ какой-то разсѣянностью прикасаясь къ кушаньямъ и непрерывно опоражнивая стаканъ за стаканомъ, Игнатій Иванычъ торопилъ съ аппетитомъ завтракавшаго собесѣдника, а тотъ, замѣтивъ нервность Игнатія Иваныча, еще больше старался разжечь въ немъ всколыхнувшіяся страсти.

Чиркинъ, дѣйствительно, еще наканунѣ былъ предупрежденъ относительно предстоящаго визита. Гостей онъ поджидалъ съ завтракомъ, но узнавъ, что они къ нему прямо изъ ресторана, принялся расхваливать какія-то заграничныя вина, плавно поводя рукою къ столу, уставленному бутылками.

Немного захмѣлѣвшіе дѣльцы начали разговоръ непосредственно съ предмета, которымъ всѣ одинаково были заинтересованы. Чиркинъ, не скупясь, расхваливалъ «мѣстечко» на Пескахъ, а Дормидонтъ Сидорычъ поддакивалъ ему, стараясь, однако, показать, что держитъ руку покупщика. Послѣ двухчасовой бесѣды съ виномъ, съ восторженными возгласами и съ дѣловымъ и серьезнымъ

обсужденіемъ вопроса, совѣщавшіеся порѣшили, что могутъ все кончить на пустякахъ. Чиркинъ предложилъ Игнатію Иванычу изъ своей суммы, до которой они договорились, уплатить шесть съ половиною тысячъ теперь, а остальныя было рѣшено разсрочить на два или три года. Покупщикъ, недолго думая, согласился, и они условились о днѣ и часѣ, когда можно будетъ приступить къ совершенію акта продажи.

Замѣтя въ собесѣдникѣ склонность обзавестись собственнымъ домомъ, Чиркинъ принялся доказывать, что никакихъ велодромовъ на усадебномъ мѣстѣ устраивать не надо, а, напротивъ, слѣдуетъ сейчасъ же приступить къ постройкѣ дома.

— А ужъ людей то я вамъ порекомендую хоть сейчасъ!—говорилъ онъ, подливая вино въ бокалъ Игнатія Иваныча.— Кредитъ у подрядчиковъ тоже мы съ Дормидонтомъ Сидорычемъ похлопочемъ... А тамъ, понятное дѣло, можно кое-гдѣ и въ банкахъ перехватить, да и такъ-то есть люди, которые не любятъ, чтобы ихъ денежки залеживались.

Чиркинъ воодушевился, и прежнюю свою рѣчь, полную вздутыхъ и лживыхъ обѣщаній, началъ украшать уже завѣдомою неправдою.

— Можетъ быть, видѣли на Васильевскомъ островѣ мои дома-то? Всѣ они лѣтъ десять тому назадъ также выстроены, а теперь, посмотрите-ка, какую прибыль даютъ!.. Правда вѣдь, Дормидонтъ Сидорычъ?..

— Да, да... еще бы! — подтверждалъ тотъ.

Чиркинъ, упоминая о домахъ на Васильевскомъ островѣ, имѣлъ въ виду дома, принадлежащіе его родному брату; зналъ объ этомъ и Дормидонтъ Сидорычъ, но его-ли дѣло разувѣрять довѣрчиваго слушателя и простодушнаго неопытнаго дѣльца? Сколько могъ, онъ старался теперь

только объ одномъ, чтобы сдѣлка состоялась, потому что онъ выиграетъ отъ этого, получивъ отъ Чиркина условленныя десять процентовъ, а въ случаѣ неудачи, пожалуй, придется спустить всѣ эти перстни, часы, портсигары и янтарные мундштуки, а безъ этихъ атрибутовъ что-же будетъ дѣлать агентъ темнаго царства столицы?

Вскорѣ послѣ этого былъ совершенъ актъ на запроданную усадьбу на Пескахъ, и только уже послѣ того, какъ были вручены Чиркину шесть съ половиною тысячъ, Игнатій Иванычъ разсказалъ брату и Силину о своихъ планахъ. Тѣ оба обрушились страшнымъ негодованіемъ и открыто называя Игнатія Иваныча «измѣнщикомъ». Обманутые Игнатіемъ Иванычемъ компаньоны понимали, какъ дешево пріобрѣлъ тотъ усадьбу, на которой можно, дѣйствительно, выстроить доходный домъ.

Особенно сильно негодовалъ на него Силинъ. Стараясь почему то замаскировать свои чувства, онъ говорилъ сладкимъ и вкрадчивымъ голосомъ:

— Вѣдь если мы, дорогой мой Игнатій Иванычъ, всѣ трое будемъ держаться другъ друга — то вѣдь какихъ дѣлъ-то натворимъ! Вѣдь мы никого бы постороннихъ не допустили къ этому дѣлу... Домъ то этотъ мы выстроили бы, да и продали бы его... А за какую сумму!.. А тамъ опять бы еще и еще домъ!..

— Конечно, конечно, Игнатій... Это непростительное съ твоей стороны поведеніе... Хоть бы слово! хоть бы намекъ!.. Мы не чуждались тебя!.. Да... не хорошо...

По лицу Порфирія Иваныча блуждали красныя пятна, руки и ноги тряслись отъ такого неожиданнаго пораженія.

— Но, позволь, Порфирій. Развѣ я не могу

распоряжаться своими деньгами?.. Въ чемъ могу, я не отступлю отъ васъ, работаю въ компаніи, ну, а въ этомъ дѣлѣ мнѣ захотѣлось попробовать силы самостоятельно,—также возбужденно возражалъ «измѣнщикъ».

Такія пререканія, впрочемъ, не повліяли на отношенія братьевъ и Силина другъ къ другу. Послѣдній, вмѣстѣ съ Порфиріемъ Иванычемъ, простили «измѣнщику», чувствуя, что ссориться съ нимъ вообще невыгодно.

Благодаря стараніямъ Чиркина и Дормидонта Сидорыча, Игнатій Иванычъ принялся за строительство. Деревянныя постройки на запроданной усадьбѣ были сломаны, а мѣсяца два спустя послѣ этого было приступлено къ закладкѣ фундамента во всю ширину усадьбы по улицѣ. Правда, капиталъ Игнатія Иваныча сильно поубавился послѣ этой сдѣлки, потому что, кромѣ условленныхъ шести съ половиною тысячъ, врученныхъ Чиркину, пришлось еще выдать до тридцати тысячъ подрядчикамъ и архитекторамъ, но, несмотря на это, онъ торжествовалъ, всецѣло занявшись постройкой. Въ магазинѣ онъ бывалъ уже рѣже, съ братомъ и Силинымъ видѣлся также не часто.

Прошло полгода—и вдругъ неожиданно надъ Игнатіемъ Иванычемъ разразилась гроза. Усадьба, которую запродалъ ему Чиркинъ, какъ оказалось, не принадлежала изворотливому дѣльцу, а онъ былъ всего лишь опекуномъ сиротъ-племянниковъ, которымъ, собственно, и принадлежала эта усадьба. Разорившемуся дѣльцу, запутавшемуся въ разныхъ темныхъ дѣлишкахъ, необходимо было добыть до семи тысячъ рублей, что бы выкупить выданные имъ когда-то подложные документы, за совершеніе которыхъ Чиркинъ подвергнулся бы большему наказанію, нежели за нарушеніе нѣкоторыхъ

пунктовъ по управленію ввѣреннымъ его попеченію имуществомъ сиротъ. Сдѣлка Игнатія Иваныча была признана незаконной, и договоръ его съ Чиркинымъ потерялъ силу. Чиркинъ, впрочемъ, не избѣжалъ тюрьмы, улизнулъ только отъ наказанія Дормидонтъ Сидорычъ, скрывшійся неизвѣстно куда. Искъ Игнатія Иваныча, которымъ ему хотѣлось взыскать выданные задатки съ подрядчиковъ, также не сослужилъ никакой службы обманутому строителю; ему же пришлось еще уплатить судебныя издержки.

Потрясенный происшедшимъ, Игнатій Иванычъ заболѣлъ и слегъ въ постель. Услышавъ о случившемся, Порфирій Иванычъ поскакалъ къ брату, и видя, что съ нимъ дурно, привезъ доктора, которому пришлось констатировать у паціента нервное потрясеніе.

— Что будетъ дальше — трудно предсказать, но въ такіе годы... я васъ долженъ предупредить, какъ брата... Въ такіе годы дѣло кончается дурно... — заключилъ докторъ, на ухо передавая свои опасенія Порфирію Иванычу.

— Что же, вы думаете, будетъ съ нимъ? — съ испугомъ спросилъ тотъ.

Докторъ пожалъ плечами, какъ бы изумляясь недогадливости слушателя, и тихо добавилъ:

— Можетъ быть... легкое помѣшательство; больной, очевидно, пережилъ большую непріятность.

Порфирій Иванычъ закусилъ верхнюю губу и покосился на дверь въ спальню, гдѣ лежалъ больной.

Послѣ ухода доктора онъ прошелся по комнатѣ и осторожно заглянулъ за дверь. Игнатій Иванычъ лежалъ въ постели съ высоко приподнятой на подушкахъ головою. Глаза его, немного сощуренные, но лихорадочно блестѣвшіе, были устремлены

въ одну точку; скрещенные руки покоились на груди, полы халата безпорядочно разметаны по сторонамъ. Больной, очевидно, не замѣтилъ высунувшейся изъ-за двери головы брата, продолжая всматриваться въ окно, а Порфирій Иванычъ, притаивъ дыханіе, скрылся и безшумно опустился на диванъ.

Болѣзнь брата обезкуражила его своею неожиданностью, а что болѣзнь эта была серьезна, въ этомъ Порфирій Иванычъ не сомнѣвался, припоминая тонъ голоса доктора, съ которымъ тотъ высказалъ свой приговоръ. Еще такъ недавно они вмѣстѣ, ничего не подозрѣвая, работали; не прошло и полгода послѣ того, какъ они немного повздорили, упрекая другъ друга въ измѣнѣ—и вотъ теперь — конецъ всему. Когда тянулся процессъ Чиркина, въ которомъ косвенно фигурировалъ и Игнатій Иванычъ, онъ глубоко скорбѣлъ, что треплется имя того, кто уже на краю могилы, но, вотъ, процессъ этотъ кончился благополучно для брата, и этотъ, посѣдѣвшій за одну ночь, человѣкъ, оказался почти нищимъ.

Порфирій Иванычъ зналъ, сколько денегъ было вложено братомъ въ предпріятіе по складу, зналъ, сколько тысячъ было безразсудно ухлопано на постройку, и его занималъ теперь вопросъ—сколько еще осталось денегъ у брата послѣ всѣхъ этихъ неудачъ? Разрѣшить этотъ вопросъ Порфирію Иванычу хотѣлось во что бы то ни стало, но онъ почему то не могъ рѣшиться задать его брату. Невольно задавался онъ и еще однимъ вопросомъ, и почему то также боялся попытаться разрѣшить его, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ему страстно хотѣлось знать, какъ распорядится братъ оставшимися деньгами передъ смертью. Онъ зналъ, конечно, и вѣрилъ въ то, что существующіе законы въ пользу

его, единственнаго наслѣдника, не сомнѣвался онъ также и въ томъ, что духовное завѣщаніе, составленное человѣкомъ не въ твердомъ умѣ, легко оспорить, и не боялся дурного исхода, если бы брату вздумалось пожертвовать деньги какому либо постороннему лицу или учрежденію... Несмотря на эти соображенія, ему все-таки хотѣлось знать, чѣмъ дѣло кончится.

Порфирій Иванычъ поднялся съ дивана и, подойдя къ двери и заглянувъ въ спальню, попятился, встрѣтившись съ неподвижными глазами брата.

— Игнатій! докторъ сказалъ, что это пустяки — переутомленіе,—началъ онъ, подходя къ больному.

— А?.. Пустяки, говоришь?.. — безпокойно забормоталъ тотъ и нервно задвигалъ руками. — Разумѣется, пустяки... Да... да... У меня еще осталось... Не все эти глоты хапнули, не все!..

Игнатій Иванычъ спустилъ ноги съ постели и попытался было встать, но послѣ неудачной попытки быстро опустился на кровать.

— Успокойся, Игнатій! Успокойся!.. Докторъ говорилъ о твоей болѣзни, а не о деньгахъ.

— О болѣзни?..

— Да, онъ говорилъ, что дѣло пустое, и ты скоро поправишься...

Игнатій Иванычъ дико посмотрѣлъ на брата и съ шопотомъ въ голосѣ спросилъ:

— А если не поправлюсь, то умру?.. Да?..

— Да нѣтъ-же!.. Ты лягъ и успокойся. Дѣло въ томъ, что всѣ люди... ну, когда потеряютъ что нибудь, то послѣ этого нервы у нихъ немного не въ порядкѣ... Понимаешь, переутомляются очень. И со мною это было...

Порфирій Иванычъ помолчалъ и, видя, что братъ ни однимъ звукомъ не отозвался на его разсужденія, продолжалъ:

— А относительно денегъ ты не безпокойся — наплевать... Со всѣми бываетъ... Ну, въ одномъ дѣлѣ потерпѣлъ убытокъ, такъ въ другомъ заработаешь... Ты смотри, какъ хорошо идутъ наши дѣла по магазину... Скоро, братъ, мы всѣ твои неудачи покроемъ...

При словѣ «магазинъ» растерянная мысль Игнатія Иваныча какъ бы встряхнулась, и онъ совершенно разумно принялся разсуждать о дѣлахъ, строя планы на будущее, напоминая брату о срокахъ, когда необходимо сдѣлать платежи по векселямъ, высказываясь также и о новыхъ заказахъ на товаръ. Порфирій Иванычъ обрадовался, видя брата здраво разсуждающимъ, и всѣми силами старался поддержать въ немъ этотъ скоро изсякающій источникъ свѣта.

— А вотъ, ты все, бывало, бранился, что я коплю да «тушу» деньги... Вотъ теперь и расхлебывай кашу! — послѣ продолжительной паузы началъ Игнатій Иванычъ, снова сбиваясь на тему, больше другихъ близкую ему теперь.

— Ахъ, право, Игнатій! да не думай ты обо всемъ объ этомъ. Ну, что за пустяки! Развѣ можно изводить себя изъ-за такихъ мелочей, погоди — наживемъ снова!.. Вѣдь у тебя еще, слава Богу, осталось?

— Ма-а-ло!..—страшнымъ, сдавленнымъ шепотомъ протянулъ Игнатій Иванычъ.

Порфирій Иванычъ вздрогнулъ.

— Мало!.. мало.. — продолжалъ больной, снова пытаясь приподняться: — тысячи четыре не наберется... Да, да, все, все обобрали!

Игнатій Иванычъ заплакалъ горькими слезами и спряталъ лицо свое въ ладоняхъ рукъ. Порфирій Иванычъ безпомощно смотрѣлъ на трясущуюся голову брата, безплодно стараясь успокоить его.

Игнатій Иванычъ замеръ на минуту, потомъ опустилъ руки и, въ упоръ смотрѣвъ въ лицо брата, спросилъ:

— А ты дашь мнѣ въ займы?.. А?.. Дашь?..

— Господи!.. Конечно, дамъ!.. Конечно!..

Порфирій Иванычъ хрустнулъ пальцами сложенныхъ рукъ, продолжая:

— Развѣ ты можешь сомнѣваться въ этомъ, Игнатій?.. Разъ тебѣ понадобятся деньги, то—сдѣлай одолженіе—бери... бери...

Игнатій Иванычъ немного успокоился, легъ въ постель и, какъ и прежде, скрестивъ на груди руки, уставился на окно неподвижными, еще красными отъ слезъ глазами. Къ вечеру онъ немного успокоился и высказалъ желаніе уснуть. Обрадованный этимъ Порфирій Иванычъ распрощался съ нимъ и ушелъ. Въ кухнѣ онъ долго шептался съ кухаркой, объясняя той болѣзнь брата, и наказалъ старухѣ слѣдить за больнымъ ночью, и въ случаѣ, если ему будетъ худо, немедленно извѣстить его объ этомъ. Пообѣщавъ заѣхать на другой день вмѣстѣ съ докторомъ, Порфирій Иванычъ уѣхалъ.

VIII.

Черезъ недѣлю Игнатія Иваныча перевезли въ н-скую больницу душевно-больныхъ, потому что оставить его дома было бы не безопасно.

Пріѣхавъ къ брату на другой день, какъ было обѣщано, Порфирій Иванычъ уже по лицу кухарки догадался, что съ больнымъ худо.

— Всю ночь, батюшка мой, Порфирій Иванычъ, не спалъ онъ! всю ночь! — боязливо шептала еще неоправившаяся отъ пережитыхъ тревогъ старуха, помогая гостю раздѣться.

— А что?.. Что онъ дѣлалъ?..

— Сначала все въ постели лежали, да этакъ

все что-то говорили сами съ собой, а потомъ вдругъ это зубами скрежетать начали. Бѣгу я въ спальню со свѣчкой, а онъ какъ на меня крикнетъ!.. Я было къ сосѣдямъ, да во время вернулась: молъ, что это я дѣлаю?.. Тутъ — вѣрно съ часъ время прошло—призываетъ онъ меня и лампу приказываетъ засвѣтить... Обрадовалась я, чайку ему предложила, а онъ отказался... Усѣлся онъ у стола, да всю ночь и перебиралъ бумаги какія-то... и по сей часъ, смотрите-ка, сидитъ...

Въ полуотворенную дверь Порфирій Иванычъ взглянулъ чрезъ зальце въ комнату брата и увидѣлъ его склонившимся надъ столомъ, заваленнымъ бумагами.

— Братъ!—наконецъ, рѣшился произнести Порфирій Иванычъ.

Заслыша окрикъ, больной повернулъ искаженное неудовольствіемъ лицо и безпокойно спросилъ:

— Что?.. Что тебѣ?.. — Руками при этомъ онъ сдѣлалъ такое движеніе, какъ будто хотѣлъ защитить бумаги отъ какого-то таинственнаго похитителя. Замѣтивъ это движеніе, Порфирій Иванычъ, насколько могъ ласково, проговорилъ:

— Игнатій! это я... Я — Порфирій Иванычъ, братъ твой.

— А-а, ты?.. ну иди, садись... только вотъ тутъ,—и Игнатій Иванычъ жестомъ указалъ черезъ порогъ на одинъ изъ стульевъ, стоявшихъ въ зальцѣ. Гость покорно опустился на указанное мѣсто и, понизивъ голосъ, началъ:

— Я къ тебѣ, какъ обѣщалъ вчера... Тебѣ бы лучше, Игнатій, не выходить нѣсколько дней, а я тамъ въ магазинѣ все сдѣлаю, что нужно.

— Не выходить?—А развѣ это можно... Развѣ ты не знаешь, кто онъ, этотъ-то, рыженькій-то?.. Воръ онъ, шельма! Онъ ограбитъ насъ, ограбитъ!..

— Полно, Игнатій! онъ честный человѣкъ! Никого онъ не ограбитъ, да и нельзя, если-бы и захотѣлъ, вѣдь кассой то ты завѣдуешь,—старался успокоить брата Порфирій Иванычъ.

— А... да... правда... А вотъ въ чемъ дѣло! — сбивчиво началъ Игнатій Иванычъ:—ты мнѣ дай въ займы-то, хоть тысячъ пять... А? Дашь, Порфирій?..

— Дамъ, конечно, если понадобится...

— Дай, дай!.. нужно мнѣ... всего меня обокрали!.. всего...

Игнатій Иванычъ захрипѣлъ какъ то страшно, словно шею его сдавили чьи то руки, и приподнялся. Уставившись въ какую то точку стола, шепотомъ онъ продолжалъ:

— Шесть съ половиною тысячъ выдалъ я ему!.. да-а!.. А тамъ этому еще, подрядчику-то!.. — Ну, какъ они?..—вдругъ воскликнулъ онъ и ухватился за рукавъ сюртука Порфирія Иваныча... — Какъ его, Порфирій...

Больной неистово кричалъ, хлопая лѣвою рукою по столу, а пальцами правой теребилъ руку брата. Тотъ испуганно смотрѣлъ въ красное отъ негодованія лицо Игнатія Иваныча и опасливо сторонился, чувствуя боль въ рукѣ...

Игнатій Иванычъ заплакалъ, а потомъ рыданія эти закончились громкимъ истерическимъ хохотомъ. Глаза его дико блуждали, губы искривились, на вискахъ выступили красно-багровыя жилы. Порфирій Иванычъ даже не узнавалъ этого искаженнаго мученіями лица, проникшись вдругъ какимъ то страннымъ, двойственнымъ чувствомъ: онъ и жалѣлъ брата, и ему казалось страшнымъ и противнымъ его искаженное безуміемъ лицо.

Этотъ припадокъ оказался началомъ конца Игнатія Иваныча. Но смерть не страшна для бе-

зумнаго человѣка, его страшатъ тѣ идеи, которымъ не суждено осуществиться, или то, чего не избѣжалъ его больной мозгъ, и что тщетно отгоняло сознаніе.

Въ больницѣ Игнатій Иванычъ никого не узнавалъ. Рѣчь его была несвязна и казалась странной тѣмъ, кто ей внималъ; поведеніе его иногда смѣшило докторовъ, сидѣлокъ и служителей...

Всегда почти говорилъ онъ о деньгахъ, о строющемся домѣ и о томъ, какъ онъ будетъ получать съ жильцовъ деньги.

Иногда онъ съ бѣшеннымъ крикомъ и съ пѣной у рта убѣгалъ отъ докторовъ и фельдшеровъ, узнавая въ нихъ Чиркина... Въ такомъ припадкѣ онъ дѣлался буйнымъ, и по отношенію его приходилось принимать соотвѣтствующія мѣры. А потомъ, когда буйный порывъ проходилъ, Игнатій Иванычъ дѣлался спокойнымъ и сговорчивымъ, начиная рѣчь о магазинѣ. Иногда онъ ждалъ прихода Порфирія Иваныча, который, будто бы, обѣщалъ принести выручку, но когда братъ приходилъ—больной не узнавалъ его... Съ собою постоянно Игнатій Иванычъ носилъ тостый кожаный бумажникъ, наполненный разноцвѣтными лоскутками бумаги, и онъ часто и по долгу пересчитывалъ эти бумажки, нашептывая какія то таинственныя цифры...

Умеръ Игнатій Иванычъ тихо, точно заснулъ... Когда безумный испустилъ послѣднее дыханіе, и смерть сомкнула поблѣднѣвшія уста, полузакрывшіеся глаза, казалось, выражали глубокое изумленіе... Когда трупъ перенесли въ покойницкую, служители съ большимъ трудомъ разжали закоченѣвшіе пальцы и вынули изъ ихъ объятій бумажникъ съ лоскутками никому ненужныхъ бумажекъ...

Игнатія Иваныча хоронили просто. Наканунѣ похоронъ Порфирій Иванычъ самъ сопровождалъ въ больничную покойницкую красивый гробъ, обитый свѣтло-желтымъ глазетомъ и на мѣдныхъ блестящихъ ножкахъ, чистымъ золотомъ отливали и узорныя мѣдныя ручки... Гробъ былъ сооруженъ въ мастерской «П. Ф. Силина, П. И. Петрушкина и К°». Самъ Силинъ нѣсколько разъ заходилъ въ мастерскую и руководилъ работой.

Когда погребальныя дроги, запряженныя четверней, тащились по улицамъ, во главѣ немногочисленной процессіи шли Порфирій Иванычъ и Силинъ. Оба были въ цилиндрахъ съ трауромъ и печальнымъ выраженіемъ на лицахъ.

Погода въ этотъ день была какая то странная, какая не рѣдко бываетъ въ Ноябрѣ. Солнце свѣтило ярко и даже пригрѣвало; по небу, толпясь, неслись громадные клочья густыхъ сѣрыхъ тучъ... Набѣгутъ тучи на солнце — улицы потемнѣютъ и сдѣлается холодно, отодвинутся дальше—и опять свѣтитъ солнышко и снова тепло...

Шагая за гробомъ, Порфирій Иванычъ грустилъ, посматривая на металлическій вѣнокъ, возложенный на крышку гроба. Когда тучки застилали солнышко—вѣнокъ казался тусклымъ, вѣтви его, окрашенныя подъ цвѣтъ зелени — темнѣли, тусклыми казались и мѣдныя ручки и ножки гроба.

— Вотъ, право, только не посмотри за ними— бѣда, непремѣнно напортятъ что нибудь, — подумалъ Порфирій Иванычъ, всмотрѣвшись въ ножки гроба и замѣтивъ, что одна изъ нихъ криво вставлена въ нижнюю доску...

Солнце заслонила тучка—вѣнокъ потемнѣлъ... на улицѣ стало холоднѣе...

СКОРБЯЩІЙ ГОСПОДИНЪ.

(Новелла).

Гляжу назадъ — прошедшее ужасно,
Гляжу впередъ — тамъ нѣтъ души родной.

Лермонтовъ.

Вчера у меня была странная встрѣча.

Часу въ первомъ ночи я одиноко сидѣлъ у круглаго столика въ одномъ изъ ресторановъ на Невскомъ. Небольшая комната, тускло озаренная газомъ, грязноватая и неуютная, съ темными стѣнами и потолкомъ, — видимо, не располагала посѣтителей засиживаться. Кромѣ меня, у буфета стояли какіе-то нѣмцы, ѣли бутерброды и пили пиво, и какой-то господинъ съ щекой, перевязанной платкомъ, сидѣлъ въ углу за одинокой бутылкой портера и немилосердно курилъ.

Весь день мнѣ хотѣлось быть на людяхъ, весь день я боролся со своими скучными думами, и весь день, и вечеръ, и въ этотъ поздній часъ ночи— меня томило желаніе зрѣлищъ. Мнѣ хотѣлось шума, говора, смѣха; мнѣ хотѣлось впечатлѣній, которыя могли бы освободить меня отъ невеселыхъ размышленій.

Къ моему столику подошелъ невысокій господинъ въ пальто съ бобровымъ воротникомъ, съ свѣтлыми волосами, съ сѣрыми блестящими гла-

зами на симпатичномъ, но утомленномъ лицѣ. Остановившись около меня, онъ какъ-то странно улыбнулся и проговорилъ:

— А знаете ли, что? — Маша-то вѣдь умерла... Третьяго дня голубку схоронили... я не видѣлъ, какъ хоронили-то...

Я съ большимъ недоумѣніемъ посмотрѣлъ въ лицо господина, припоминая, однако, что гдѣ-то и когда-то я видѣлъ это красивое лицо съ темнорусой бородкой и усиками; запомнилась мнѣ также и еще одна его особенность: онъ нѣсколько прихрамывалъ на лѣвую ногу.

— Вы не помните?.. Вы недоумѣваете? — началъ онъ снова, и по лицу его разлилась скорбная улыбка.—Припомните-ка скандалъ-то мой, съ мѣсяцъ тому назадъ, въ кофейной Н... Маша-то, черненькая такая, высокая, кудреватая... умерла вѣдь... ей Богу... Помните, я сидѣлъ вотъ такъ, примѣрно. а вы—такъ (господинъ развелъ руками, желая показать, какъ мы сидѣли). Еще она съ какимъ-то студентомъ вошла и стала надо мной смѣяться... а я... помните, хотѣлъ плеснуть въ нее горячимъ чаемъ, а меня удержалъ кто-то.

Странный господинъ съ секунду помолчалъ и потомъ добавилъ:

— Умерла Маша... жалко... хорошая была... и живо такъ скрутило ее... Скучно безъ Маши!

Господинъ вздохнулъ, отвернулся, бросилъ на полъ погасшій окурокъ и прошелъ въ сосѣднюю комнату. Черезъ дверь мнѣ было видно, какъ онъ подошелъ къ столику въ углу комнаты, за которымъ сидѣло двое посѣтителей, и занялъ свободный стулъ. Лѣнивымъ движеніемъ руки онъ поднесъ къ губамъ стаканъ съ пивомъ и сдѣлалъ нѣсколько глотковъ.

Я сидѣлъ подъ впечатлѣніемъ странной встрѣчи съ незнакомцемъ и припоминалъ то, на что онъ намекалъ.

Мѣсяцъ тому назадъ, вечеромъ, я сидѣлъ въ кофейной Н... Я, кажется, въ первый разъ и зашелъ въ это гостепріимное мѣстечко на Невскомъ. Помнится, мнѣ понравилась уютная, небольшая и свѣтлая комнатка. Публики было немного: справа отъ меня сидѣли два реалиста и пили чай съ миндальными пирожными, немного дальше, въ углу, у круглаго столика грѣлись двѣ дѣвушки, все время перешептываясь между собой и бросая игривые взгляды на своихъ сосѣдей; немного лѣвѣе пилъ кофе и читалъ газету военный врачъ; ближайшимъ сосѣдомъ его былъ тотъ самый блондинъ, который такъ безцеремонно нарушилъ мое одиночество въ ресторанѣ. Въ тотъ вечеръ онъ показался мнѣ нетрезвымъ, въ чемъ было не трудно убѣдиться по его устало опущеннымъ, посоловѣвшимъ глазамъ, красно-багровому лицу и нервнымъ движеніямъ рукъ. То и дѣло онъ зажигалъ спичку и закуривалъ папиросу, о которой, видимо, скоро и забывалъ.

Въ кофейной было тихо. Не громко шептались дѣвушки, въ полголоса разговаривали между собой реалисты, по временамъ въ рукахъ врача шелестѣла газета.

Въ сосѣдней комнатѣ послышался веселый мужской голосъ и сдержанный женскій смѣхъ. На порогѣ появилась высокая стройная брюнетка въ темно синей жакеткѣ, плотно облегавшей ея фигуру. На головѣ посѣтительницы была темная плюшевая шляпа съ высокимъ бантомъ и приподнятыми съ одного бока полями, гдѣ была приколота пунцовая роза, красиво выдѣлявшаяся на фонѣ черныхъ волосъ, пряди которыхъ оттѣняли

бѣлизну щекъ и красивыя маленькія уши. Вслѣдъ за дѣвушкой входилъ юный студентъ съ перетянутой таліей, въ бѣлыхъ перчаткахъ на маленькихъ рукахъ и съ крошечными рыжеватыми усиками на разрумянившемся отъ мороза лицѣ.

Я видѣлъ, какъ юная посѣтительница взглянула въ сторону одинокаго блондина и, сдѣлавъ на личикѣ недовольную мину, прикрыла щеку муфтой. По пути она лукаво улыбнулась сидѣвшимъ дѣвицамъ и тихо проговорила:—Здравствуй, Надя!

Одна изъ дѣвушекъ кивнула ей головой и улыбнулась, слегка подмигнувъ въ сторону одинокаго блондина. Стройная брюнетка оглядѣла меня веселыми блестящими глазами и сѣла на стулъ у сосѣдняго столика. Кавалеръ ея присѣлъ рядомъ съ нею, снялъ фуражку, пригладивъ рыжеватые, коротко-остриженные волосы, и что-то приказалъ подскочившему къ нему оффиціанту.

Я замѣтилъ, что вошедшая брюнетка старалась усѣсться такъ, чтобы скрыть свое лицо отъ блондина, но она не замѣтила висѣвшаго напротивъ зеркала, въ которомъ отражался весь ея бюстъ. Я посмотрѣлъ въ лицо своего одинокаго сосѣда и удивился происшедшей въ немъ перемѣнѣ. За минуту передъ тѣмъ сонное и апатичное, оно теперь какъ-то странно оживилось: въ то время, какъ широко-открытые, изумленные и довольные глаза весело улыбались, въ углахъ рта появилась недовольная, презрительная усмѣшка. Спустя минуту я видѣлъ, какими злыми глазами смотрѣлъ онъ на кавалера моей сосѣдки. Онъ, видимо, съ большимъ трудомъ скрывалъ даже отъ самого себя охватившее его волненіе. Съ какимъ-то волненіемъ боролась и стройная брюнетка. Она что то тихо говорила своему кавалеру, прося его о чемъ-

то, и все время стараясь скрыть свое лицо отъ блондина. Меня заинтересовала эта нѣмая сцена и, заслонившись листомъ юмористическаго журнала, я сталъ наблюдать.

— Оставь... что же тебѣ? Пусть, — не громко проговорилъ студентъ, видимо, стараясь успокоить свою собесѣдницу.

Прошло минутъ пять, въ теченіе которыхъ я наблюдалъ крайне странную и любопытную сцену.

Дѣвушка успокоилась; низко наклонивъ голову и медленно отхлебывая ложечкой чай, она все время что-то разсказывала своему кавалеру вполголоса. Блондинъ же, напротивъ, не былъ покоенъ: глаза его перестали улыбаться, исчезло въ нихъ и мимолетное изумленіе и радость; теперь онъ уже злобно смотрѣлъ въ сторону недавно появившейся парочки, и все лицо его, съ характерно выступившей вертикальной жилой на лбу, стало совсѣмъ злымъ.

Онъ тихо поднялся, обвелъ присутствовавшихъ разсѣяннымъ взглядомъ, запахнулъ полы пальто и медленно направился къ столику, за которымъ сидѣли дѣвушка и юный студентъ. Немного прихрамывая на лѣвую ногу, онъ подошелъ къ моимъ сосѣдямъ и, положивъ руки на спинку стула, на которомъ сидѣла дѣвушка, тихо проговорилъ:

— Я три раза заходилъ къ тебѣ, Маша, и все не заставалъ... Я писалъ тебѣ...

Въ его голосѣ слышались мягкія и нѣжныя нотки, но дѣвушка, должно быть, испугалась этого голоса, вздрогнула, выронила изъ руки ложку и немного подвинулась въ сторону вмѣстѣ со стуломъ.

— Ну, такъ что же, что не застали?—наконецъ, проговорила она:—меня не было дома, я уѣзжала.

— Неправда, я дня два тому назадъ заходилъ къ тебѣ и не засталъ, и ты была дома... А въ воскресенье встрѣтилъ тебя на Морской, ты вотъ съ этимъ господиномъ ѣхала...

— Ну, такъ что же вамъ-то?—быстро спросила дѣвушка, прерывая потокъ упрековъ, которые ей, очевидно, не нравились.

— Какъ что же?—съ удивленіемъ въ голосѣ спросилъ тотъ.

— Ахъ, оставьте меня, пожалуйста... идите себѣ и кушайте кофе,—недовольнымъ тономъ отвѣтила она и умоляющими глазами посмотрѣла въ лицо своего кавалера, который все время спокойно разсматривалъ непрошеннаго и навязчиваго собесѣдника.

— Маша!—воскликнулъ блондинъ: — отойдемъ сюда... только на минуту, вотъ сюда къ столику... я тебѣ только пару словъ скажу, — продолжалъ онъ, отступая на шагъ отъ столика моихъ сосѣдей.

— Зачѣмъ я къ вамъ пойду? Уйдите, пожалуйста, – отвѣтила та рѣзко.

— Маша! Маша! — еще разъ позвалъ дѣвушку блондинъ, потомъ минуту постоялъ покойно, съ печалью въ глазахъ глядя на Машу, и тихо отошелъ къ своему столику.

Я видѣлъ, съ какимъ нервнымъ порывомъ руки опустилъ онъ сахаръ на дно только что принесеннаго слугой стакана съ чаемъ, сѣлъ, что-то прошепталъ про себя и опустилъ глаза книзу. Все время губы его шевелились, лицо то блѣднѣло, то вновь заливалось краской. Наконецъ, онъ шепотомъ, но довольно явственно проговорилъ:

— Гадина подлая!..

Въ кофейной водворилась какая-то странная тишина. Всѣхъ насъ, присутствующихъ, разумѣется, заинтересовала эта сцена, и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, чувствовалась какая-то неловкость быть свидѣтелемъ случайно разоблаченной интимной стороны жизни.

Реалисты, предвидя скандалъ, расплатились и поспѣшно вышли, покашливая и застегивая шинели. Моя сосѣдка также начала торопить своего кавалера уйти, но тотъ удерживалъ ее, успокаивая, что все кончится благополучно.

— Тебѣ со мной нечего бояться,—проговорилъ онъ довольно громко и ухарски глянулъ въ сторону блондина.

Минутъ пять спустя, дѣвушка и студентъ поднялись и, весело болтая о чемъ-то и смѣясь, направились къ выходу. Передъ ними стоялъ блондинъ со стаканомъ чая въ рукахъ. Въ его глазахъ свѣтилась какая-то дерзкая рѣшительность, блѣдныя губы трепетали.

— Маша! Только на пару словъ... не больше,— говорилъ онъ, обращаясь къ дѣвушкѣ.

— Оставьте меня! Позвольте пройти! —взвизгнула та.

— Прошу васъ посторониться, — промолвилъ взволнованнымъ голосомъ студентъ, стараясь заслонить свою спутницу.

— Маша! только на пару словъ!

— Оставьте! — громко крикнулъ студентъ и тихо отстранилъ рукою блондина.

Тотъ попятился, громко выругался и занесъ было руку со стаканомъ, чтобы плеснуть чаемъ въ лицо дѣвушкѣ, но какой-то господинъ, входившій въ это время въ кофейную, удержалъ его, и стаканъ расплескался въ рукахъ негодующаго блондина.

Минуту спустя, въ кофейной Н. все было спокойно: врачъ принялся за газету, дѣвушки опять зашептались о чемъ-то, съ неудовольствіемъ посматривая въ сторону нашумѣвшаго посѣтителя.

Послѣдній быстро расплатился, не докончивъ своего стакана, конфузливо опустилъ глаза и вышелъ.

Все время, пока вспоминалась мнѣ эта, пожалуй, обычная сцена человѣческихъ недоразумѣній, я смотрѣлъ чрезъ дверь на страннаго незнакомца и думалъ о Машѣ.

Все это было такъ недавно, какой-нибудь мѣсяцъ тому назадъ. Я сидѣлъ въ свѣтлой уютной комнаткѣ, смотрѣлъ на высокую стройную брюнетку въ шляпкѣ съ пунцовымъ цвѣткомъ, а теперь я зналъ, что она уже умерла, и прихрамывающему господину некого просить удѣлить минутку «на пару словъ». Полчаса тому назадъ онъ такими печальными глазами смотрѣлъ на меня, когда говорилъ: «Маша-то умерла... умерла моя голубка». Печальнымъ и достойнымъ сострадания смотрѣлъ онъ и тогда, когда сидѣлъ со своими товарищами за бутылкой вина, вѣроятно, съ желаніемъ найти покой душѣ на днѣ этой бутылки. Сидѣлъ онъ, перекинувъ ногу на ногу, понуривъ голову и блуждая печальными глазами гдѣ-то далеко-далеко. Одинъ изъ его собесѣдниковъ что-то разсказывалъ, и онъ какъ будто слушалъ его, но, казалось, не слышалъ того, о чемъ говорилось: онъ думалъ, что было видно по его задумчиво-скорбному лицу.

Никто не ошибся бы, если бы сказалъ про него въ эту минуту: «Вотъ человѣкъ, переживающій тяжелую душевную муку». Онъ казался такимъ, онъ въ дѣйствительности былъ скорбнымъ. Онъ любилъ покойную Машу, но смерть ея не начало драмы, а послѣдій актъ ея: драма началась еще при жизни дѣвушки. Нѣсколько лѣтъ Маша и онъ жили дружно, любили другъ друга, и бездомная дѣвушка, не смотря на свою тяжелую, порочную профессію, любила безкорыстно, своими ласками

скрашивая одинокіе дни такого же, какъ и она, бездомнаго неудачника, который теперь оплакиваетъ свою утрату. А онъ? Онъ былъ счастливъ съ Машей, онъ шелъ къ ней, побуждаемый и страстью, и желаніемъ отдохнуть отъ сумятицы жизни. Кто знаетъ, можетъ быть, у Маши, въ ея неуютной, убого-нарядной комнатѣ, быстро пролетало время, когда два бобыля—безсемейника, отдыхая вдвоемъ, не замѣчали долгихъ томительныхъ часовъ, забывая о своемъ одиночествѣ подъ ласками недолгаго призрачнаго счастья. Сердце капризно, призраки мимолетны: въ каждую минуту жизни человѣка подстерегаетъ несчастіе.

Блондинъ поднялъ голову, повернулъ лицо въ мою сторону—и глаза наши встрѣтились. Можетъ быть, праздное любопытство прочелъ онъ въ моихъ глазахъ, въ его же взорѣ я прочелъ глубокоскорбное выраженіе. Я смутился и взялъ со стола газету.

— Вы позволите мнѣ сѣсть съ вами.?

Я поднялъ глаза: это былъ онъ. Онъ спокойнымъ взоромъ смотрѣлъ мнѣ въ лицо, ожидая отвѣта. Я указалъ на свободный стулъ возлѣ столика.

— Выпьемте портера,—предложилъ онъ, опускаясь на стулъ.

Я началъ было отказываться, ссылаясь на поздній часъ ночи, но онъ такъ умоляюще посмотрѣлъ на меня, что мнѣ было совѣстно отказать ему, и я согласился.

— Тоска, знаете ли, страшная тоска,—тихо проговорилъ онъ.—Слушай, Тимофей, дай намъ портера,—вдругъ обратился онъ къ лакею, а когда послѣдній скрылся, онъ снова началъ:—Мѣста не могу себѣ найти... такъ скверно. Вѣдь я такъ любилъ ее... Машу-то... покойную-то Машу. Помните, та, что была къ кофейной Н?..

— Да, я помню ее,—отвѣчалъ я.

— Вѣдь и я помню васъ: вы тогда видѣли всю эту глупую сцену,—перебилъ онъ меня.

Не дожидаясь моихъ вопросовъ, онъ разсказалъ мнѣ всѣ событія, послѣдовавшія послѣ сцены въ кофейной, и событія эти, разростаясь изо дня въ день, переплетаясь и запутываясь, измѣнили обычное теченіе его жизни.

Его попытки объясниться съ Машей не ограничились сценой въ кофейной. На другой день утромъ онъ посѣтилъ свою возлюбленную на квартирѣ, но хозяйка, отворившая ему дверь, встрѣтила его очень не любезно: не впуская его въ квартиру, она поторопилась сообщить ему, что жилицы нѣтъ дома и что она еще съ утра уѣхала. Нетерпѣливо жаждущій этого свиданія, конечно, не повѣрилъ лгуньѣ-хозяйкѣ, зная привычку Маши спать до двѣнадцати и до часу дня, особенно послѣ бурно проведенной ночи. Но что же оставалось ему дѣлать, когда передъ его носомъ захлопнулась дверь? Онъ ушелъ, досадуя и тоскуя. Тоска, впрочемъ, оказалась сильнѣе досады: несчастный понялъ, что въ отношеніяхъ Маши къ нему произошло что-то серьезное, начало чему только теперь, а каковъ будетъ конецъ? Въ тотъ-же день, вечеромъ, онъ снова звонилъ въ квартиру, гдѣ жила Маша: результатъ былъ тотъ же, что и утромъ. То же было и въ слѣдующіе два дня.

— Смутилась тутъ моя душа, скажу я вамъ... и точно я сразу утратилъ что-то дорогое, дорогое. Я пересталъ ходить на службу, сказавшись больнымъ, а болѣлъ я въ то время не на шутку, только такъ, знаете-ли, не видимой болѣзнью: въ душѣ моей она была, болѣзнь-то эта... А кто ее тамъ увидитъ: еще не повѣрятъ!

Собесѣдникъ мой какъ-то нервно произнесъ послѣднюю фразу, и мнѣ стало жаль его, одинокаго, ищущаго, передъ кѣмъ бы излить свою скорбную душу.

Отпивъ изъ стакана нѣсколько глотковъ пива, онъ продолжалъ:

— Пересталъ я ходить къ Машѣ: вижу, что попытки мои ни къ чему ни приведутъ. Утромъ, какъ встану съ постели, такъ и пойду бродить по городу: ищу все, знаете-ли, шумныхъ мѣстъ. Такъ, бывало, цѣлый день проходишь по Невскому: позавтракаешь, и опять ходишь, пообѣдаешь и опять. Вечеромъ хожу и присматриваюсь къ публикѣ: думаю, не встрѣчу-ли Машу—и опять безплодно... Начинаю пить съ горя — и вино не дѣйствуетъ... Заходилъ нѣсколько разъ къ знакомымъ и скоро уходилъ отъ нихъ: тоской своей и на нихъ хандру наводишь... Заходилъ было и къ дѣвицамъ знакомымъ: все о Машѣ распрашивалъ—и ничего не узнавалъ. Бѣжалъ отъ нихъ: оставаться у нихъ было противно. Только не вынесъ мученій, и какъ-то вечеромъ рѣшился опять попытать увидѣть Машу: надъ самолюбіемъ-то моимъ желанье увидѣть ее взяло верхъ. Прихожу, звоню. Отпираетъ мнѣ дверь все та же старая карга, хозяйка. Спрашиваю. Тутъ-то я и узналъ все. «Приказала, говоритъ, она вамъ, Николай Петровичъ, долго жить».—Какъ,—спрашиваю,—умерла? — «Да»,—говоритъ,—«вчера хоронили». Воспаленіе легкихъ схватила она и на третій день Богу душу отдала... Пошелъ я и пошелъ... Сначала, какъ сумасшедшій, ходилъ и не знаю, гдѣ я былъ въ эту ночъ, и гдѣ ночевалъ... Очнулся я утромъ на набережной: на лавкѣ заснулъ... знаете, тамъ гранитныя лавочки есть? Забѣжалъ я въ ресторанъ, подкрѣпился и пошелъ опять къ хозяйкѣ, чтобы узнать, гдѣ Машу

схоронили, а оттуда на Смоленское. Пріѣзжаю на кладбище и спрашиваю, гдѣ схоронили Машу Столярову. «Не знаемъ», говорятъ, «такой не было. Да кто она была-то?» спрашиваютъ. Говорю, разумѣется.—«Эге», говорятъ, «по этому трудно отыскать: онѣ, гулящія-то, все такъ: въ жизни-то она, для господъ-то, Маша Столярова, а по настоящему-то, по паспорту-то, Пелагея Середкина, или еще тамъ какъ-нибудь».

Походилъ я по кладбищу, посмотрѣлъ на могилки, гдѣ схоронили покойниковъ въ послѣдніе дни. Ну, да что-же отыщешь: надъ всѣми одинаковый холмикъ, развѣ только, что одинъ за оградкой, а другія просто: рядкомъ, рядкомъ, рядкомъ...

Собесѣдникъ мой смолкъ, поникъ головой и задумался: въ утомленныхъ впалыхъ глазахъ его показались слезы. Сердце мое сжалось: онъ былъ такъ жалокъ въ эту минуту.

— Такъ я и не видѣлъ Маши послѣ того, какъ въ кофейной надоѣдалъ ей, — вдругъ промолвилъ онъ и поднялся.

На пустынномъ Невскомъ горѣли газовые фонари, когда мы съ незнакомцемъ вышли изъ ресторана. Была пасмурная холодная ночь. Небо сумрачнымъ сводомъ опрокинулось надъ столицей. Непривѣтливо выглядѣлъ въ этотъ часъ ночи шумный, блестящій проспектъ, теперь безлюдный и мрачный.

Кое-гдѣ стояли одинокіе извозчики, поджидая сѣдока. Унылые городовые дремали на постахъ. Дворники чистили панели. Раздавались шаги рѣдкихъ прохожихъ. Изрѣдка доносился говоръ, смѣхъ. Насъ перегнала шумная толпа гуляющихъ. Всѣ были веселы, говорили о чемъ-то и смѣялись. Скоро эта шумная толпа скрылась за угломъ. Одинокая дѣвушка шла на встрѣчу. Какъ тѣнь, тихо двига-

лась она въ полумракѣ ночи, поровнявшись съ нами, посмотрѣла на насъ, на секунду пріостановилась, потомъ тихо-тихо пошла по панели.

— Да-а... мнѣ вѣдь сюда надо,—какъ бы очнувшись, проговорилъ мой спутникъ и пріостановился:—Я на Фонтанкѣ живу... Прощайте... ужъ извините меня...

Онъ пожалъ мою руку и направился черезъ проспектъ на противоположную сторону.

Скоро его одинокая фигура потонула въ полумракѣ холодной петербургской ночи.

ЗАРАЗНЫЕ ЛЮДИ.

(Очеркъ).

I.

Въ воротахъ громаднаго сѣраго дома на Коломенской стоялъ дворникъ и скучающими глазами смотрѣлъ вдоль улицы. Мимо него сновала толпа, тащились ломовики съ грузами на громадныхъ саняхъ, кое-гдѣ стояли легковые извозчики, поджидая сѣдоковъ, и тоже скучали... На улицѣ было сыро; бѣлыми хлопьями падалъ съ сумрачнаго неба мокрый снѣгъ, дулъ вѣтеръ, холодный, пронизывающій...

— Ба-а! да неужто это ты, Федотычъ?—громко выкрикнулъ дворникъ.

Передъ нимъ стоялъ старикъ, въ короткомъ пальтишкѣ на узкихъ плечахъ, въ драной шапкѣ на головѣ и съ большимъ, грязнымъ и вонючимъ мѣшкомъ черезъ плечо. Лицо старика, съ темной жиденькой бородкой, было блѣдное и невѣроятно исхудавшее, а глаза ввалившіеся и утомленные.

— Я... добраго здоровья, — тихо отвѣчалъ старикъ.

— А, вѣдь, слышно было, что ты ужъ очень хворалъ?

— Маялся! страсть, какъ болѣлъ! Думалъ — и не встану, а вотъ...

Старикъ помялся на одномъ мѣстѣ и, медленно переступая, направился подъ арку воротъ. Дворникъ сердобольно посмотрѣлъ ему вслѣдъ и подумалъ: «Всталъ... охъ, ты, Господи! Плохъ-то какъ! А вотъ, говорили люди, что онъ ужъ и того... умеръ...» И какъ будто что-то припомнивъ, дворникъ крикнулъ:

Слышь, Федотычъ! Постой-ка!

Старикъ остановился во дворѣ и повернулъ къ дворнику лицо.

— Тутъ, безъ тебя, другіе начали ходить... съ Охты они... Мальченка-то никакъ и по сейчасъ въ ямѣ роется...

Выраженіе на лицѣ старика нѣсколько измѣнилось, но онъ не проронилъ ни слова, только нижняя губа его чуть замѣтно дрогнула.

— Намъ, конечно, добра-то этого не жалко, что тебѣ, что ему, или тамъ еще кому... Вишь-ты... слыхали мы, что ты ужъ боленъ очень, — какъ будто оправдывался въ чемъ-то дворникъ.

Старикъ какъ-то неопредѣленно махнулъ рукою и пошелъ по ранѣе намѣченному пути.

Шагая подъ темной аркой, дворникъ думалъ теперь о томъ, какъ неловко вышло со старикомъ. Лѣтъ десять только онъ одинъ изъ тряпичниковъ заходилъ въ ихъ дворъ и рылся въ ямахъ; въ его-же завѣдываніи былъ и громадный деревянный ящикъ подъ навѣсомъ задняго двора, куда сбрасывались бумажки, тряпки, коробочки, жестянки изъ-подъ консервовъ и прочая рухлядь. Дворники любили Федотыча за два качества: во-первыхъ, старикъ не гнушался ничѣмъ, что ненужное валялось на дворѣ, въ ящикѣ или въ выгребной ямѣ, и во-вторыхъ — Федотычъ былъ честенъ, и никто изъ жильцовъ никогда на него не жаловался.

Федотычъ, между тѣмъ, прошелъ на задній дворъ, привычно опустивъ на грудь голову и ошаривая глазами мостовую и углы двора. Въ завѣтномъ ящикѣ онъ нашелъ нѣсколько бумажекъ, коробку изъ-подъ какой то красноватой жидкости и громадную картонку безъ дна. Старику припомнились слова дворника о какомъ-то человѣкѣ съ Охты, и онъ съ грустью посмотрѣлъ въ отверстіе бездонной картонки и швырнулъ ее въ ящикъ. Обогнувъ дровяные сараи, онъ очутился у выгребныхъ ямъ, расположенныхъ въ досчатыхъ четырехугольникахъ подъ одной кровлей съ дровяными сараями. Домъ, во дворѣ котораго промышлялъ Федотычъ, былъ переполненъ жильцами, и старика страшно огорчало, что, несмотря на такое продолжительное отсутствіе, такъ мало пришлось поживиться; ему опять пришелъ на память человѣкъ съ Охты, и снова стало досадно и на этого неизвѣстнаго человѣка, и на дворниковъ, которые допустили во дворъ, вмѣсто него, какихъ-то еще тряпичниковъ. Въ глазахъ его сверкала даже злоба, когда онъ увидѣлъ паренька на кучѣ мусора въ одной изъ выгребныхъ ямъ. Паренекъ этотъ, безусый, черноволосый, съ грязными руками и съ забрызганнымъ лицомъ, собиралъ въ чумазый передникъ какіе-то отбросы, выкапывая ихъ палкой изъ нѣдръ сырой и вонючей ямы. Глаза промышленниковъ встрѣтились. Паренекъ какъ-то удивленно посмотрѣлъ на старика и, не проронивъ ни слова, углубился въ прежнее занятіе; Федотычъ сердито осмотрѣлъ его широкое лицо съ узкими глазами и, покосившись на мѣшокъ, до половины наполненный какимъ-то добромъ и стоявшій на мостовой возлѣ ямы, съ неудовольствіемъ проворчалъ:

— Будетъ ужъ рыться-то, кротъ... вишь, вонъ сколько набралъ, пора и домой.

Паренекъ не обратилъ вниманія на ворчаніе старика и даже повернулся къ нему спиною. Федотычъ забрался въ сосѣднее помѣщеніе ямы, разложилъ свой мѣшокъ и принялся за дѣло. Въ душѣ его закипала злоба по адресу сосѣда и онъ съ трудомъ сдерживалъ ее.

— Залѣзъ, какъ волкъ въ овчарню! — ворчалъ Федотычъ, слыша шорохъ въ сосѣднемъ отдѣленіи: —нѣтъ бы въ другое мѣсто пойти...

— Мѣсто-то тутъ все одно, что мое, что твое,— не вытерпѣлъ и сосѣдъ, проворчавъ за грязной перегородкой.

— Я здѣся десять лѣтъ промышляю, а ты что... щенокъ!

— Дворникъ Акимъ Петровичъ мнѣ позволилъ, и нѣтъ тутъ никакого твоего дѣла.

— Акимъ Петровичъ! Акимъ Петровичъ може и дозволялъ, пока болѣсть меня не отпущала,— отвѣчалъ Федотычъ, разсматривая бутылку изъ-подъ квасу, на боку которой чуть замѣтно змѣилась трещинка.

— Акимъ-то Петро[illegible]азалъ, что старикъ-то, молъ, умеръ [illegible] дяденькой тутъ и опредѣлил[illegible]е право паренекъ.

— [illegible]лъ васъ-то вотъ Госп[illegible]ебѣ бы вотъ съ дядек[illegible]акъ-то чужой хлѣбъ.

Пар[illegible]ія Федотыча. Высыпа[illegible]ну, взвалилъ онъ грязь [illegible]тѣшкой въ глазахъ, п[illegible]произнесъ:

— Счас[illegible] .... покойничекъ!..

Старикъ [illegible]осмотрѣлъ въ слѣдъ удалявшемуся конк[illegible]ату и долго потомъ что-то ворчалъ себѣ подъ носъ.

Наступили сумерки. Во дворѣ потемнѣло. Еще гуще закружились въ воздухѣ мокрыя снѣжинки, и такъ скучно и непривѣтливо стало среди темныхъ и грязныхъ стѣнъ. До позняго вечера рылся Федотычъ въ мусорѣ выгребныхъ ямъ, и въ душѣ его таилась злоба на «проклятую болѣсть», нарушившую весь укладъ его прежней жизни.

II.

Солнце никогда не заглядывало въ квартиру Федотыча, состоявшую изъ двухъ крошечныхъ конурокъ: два квадратныхъ оконца ея были почти въ уровень съ мостовой узкаго переулка, по другую сторону котораго высилось трехъэтажное зданіе табачной фабрики. Днемъ, когда темныя занавѣски оконъ были раздвинуты, можно было видѣть ноги пѣшеходовъ, снующихъ по переулку, ночью за темными стеклами слышалось шуршанье и топотъ этихъ ногъ, а когда шелъ дождь—слышался шумъ дождевыхъ потоковъ, вырывавшихся изъ отверстій водосточныхъ трубъ. Сыро, темно и непривѣтливо было въ этомъ подвалѣ и день и ночь. Сводчатый кирпичный потолокъ, казалось, грозилъ каждую минуту сдвинуться или осѣсть и придавить въ жильѣ Федотыча и его дѣтей, деревянный полъ мѣстами прогнилъ, печь и перегородки потемнѣли, стѣны всегда отдавали какой-то сыростью и холодомъ, а въ дверь, когда она растворялась, вползалъ вонючими волнами запахъ отъ навоза, никогда не просыхавшаго около деревянныхъ колодъ, гдѣ извозчики, во время отдыха, кормили своихъ заморенныхъ клячъ. Но Федотычъ и его немногочисленная семья,—Аннушка, дѣвушка лѣтъ шестнадцати и десятилѣтній сынъ Ѳедя,—проживая въ этомъ вертепѣ нѣсколько лѣтъ,

совсѣмъ не замѣчали этихъ неудобствъ, да и профессія ихъ такова, что всю жизнь имъ приходится возиться съ ветхимъ и грязнымъ тряпьемъ, бумажками, бутылками, жестянками и прочимъ отбросомъ, чѣмъ всегда такъ богата многолюдная столица.

Когда-то тряпичницей была и Анна Федоровна, жена Федотыча. Кромѣ этого хлопотунья женщина работала еще на фабрикѣ въ сортировочной, гдѣ разбиралось добро, собранное по столицѣ такими же, какъ и Федотычъ, неутомимыми подземными кротами. Года три тому назадъ, разбирая на фабрикѣ тряпье, Анна Федоровна заразилась какой-то болѣзнью и умерла, проболѣвъ всего дня три. Такой короткій срокъ болѣзни жены поселилъ въ Федотычѣ непоборимый скептицизмъ и, глядя на бездыханный трупъ, лежавшій въ переднемъ углу на столѣ, онъ увѣрялъ всѣхъ и самого себя, что жена его жива. — Она такъ только, обмерла... надышалась худого духа,—говорилъ онъ роднымъ и знакомымъ, дворнику и околоточному съ какимъ-то господиномъ, которые неизвѣстно для чего пожаловали въ его логовище. Господинъ въ штатскомъ, оказавшійся докторомъ, увѣрялъ старика, что жена его умерла дѣйствительно, и называлъ даже болѣзнь, подкосившую сорокасемилѣтнюю женщину. Только уже послѣ того, какъ схоронили Анну Федоровну, Федотычъ повѣрилъ, что она умерла, за то усталую голову старика заполонила другая мысль: ему все хотѣлось припомнить названіе болѣзни, отъ которой умерла его жена. Спрашивалъ онъ объ этомъ у дѣтей, не помнятъ ли они, что сказалъ докторъ, но въ ихъ памяти осталось только, какъ ихъ мать лежала въ переднемъ углу и какъ горько плакали они, когда узнали отъ доктора о ея смерти; раньше, загипнотизированные

вѣрой отца, они такъ же, какъ онъ, твердо вѣрили, что мать только надышалась дурного духа.

Долго не могъ успокоиться Федотычъ, вспоминая покойную Анну Федоровну, но мало-по-малу повседневныя сцены жизни стерли воспоминанія прошлаго. А жизнь съ каждымъ годомъ измѣнялась въ сторону, худшую для бѣдняка: дрова, квартира и провизія дорожали, а работа дешевѣла. Открылись цѣлыя артели тряпичниковъ, съ которыми охотнѣе имѣли дѣло фабричныя конторы, а разрозненнымъ одиночкамъ съ каждымъ годомъ становилось хуже и хуже. Развернуло еще тутъ свою дѣятельность человѣколюбивое общество, не брезгающее отбросами, и во многихъ дворахъ, гдѣ раньше промышлялъ Федотычъ, стояли теперь казенные ящики; уцѣлѣли только отдѣльные дома, которыхъ не коснулось новшество, но и ихъ съ каждымъ годомъ становилось меньше...

Хорошо еще, что подросла Таня и, зарабатывая шитьемъ, стала помогать отцу. Сына Ѳедю пришлось взять изъ школы, набросить на его плечики холщевый мѣшокъ и направить по тому же пути, по которому шелъ и самъ Федотычъ. Много лѣтъ тому назадъ, давно, въ наслѣдство отъ отца получилъ Федотычъ тяжелое ремесло; это же ремесло завѣщалъ онъ и своему сыну.

Федотычъ завернулъ за уголъ и очутился въ «своемъ» переулкѣ. Едва дыша, шелъ онъ длинными и темными улицами и переулками загороднаго квартала. Почти что пустой мѣшокъ за спиною все же сгибалъ его, еще слабые послѣ болѣзни, ноги, въ груди спиралось дыханіе, въ горлѣ клокотало что то липкое, хотѣлось пить, въ глазахъ порой носились зеленые круги; они какъ-то быстро вертѣлись и собирались въ одну точку, когда старикъ останавливалъ свой утомленный взоръ на

бликахъ газовыхъ рожковъ, тускло горѣвшихъ въ туманномъ и сыромъ воздухѣ.

Дома Федотычъ засталъ только Таню; Федянька еще не возвращался съ промысла. Дѣвушка сидѣла у окна, склонясь надъ старинной неуклюжей швейной машиной. Лампочка озаряло ея блѣдное, худощавое лицо и восковыя руки. Въ комнатѣ раздавался непрерывный трескъ челнока, и дѣвушка не разслышала, какъ отворилась и потомъ хлопнулась о косякъ дверь. Увидя отца, Таня вздрогнула и спустила съ педали ноги; въ комнатѣ стало тихо.

— Испить бы, Танюша, смерть моя!—подавленнымъ голосомъ проговорилъ Федотычъ и опустился на лавку, медленнымъ движеніемъ руки стаскивая съ головы шапку.

— Говорила—не ходи! вотъ, опять свалишься,— ворчала дочь, поднося отцу въ ковшѣ воду.

Старикъ жадно сдѣлалъ нѣсколько глотковъ, остановился на секунду, переводя духъ, и, окончательно опорожнивъ ковшъ, тихо проговорилъ:

— «Не ходи»... Вотъ... не ходилъ, а тамъ... на Коломенской, щенокъ какой-то все и забралъ... Да-а... вонъ, поглядика, сколько набралъ... Я думалъ—вотъ, приду, послѣ трехъ-то недѣль и ни вѣсть что найду тамъ... А-нъ, посмотри, сколько...

Съ блуждающимъ взоромъ ввалившихся глазъ Федотычъ указывалъ дочери на мѣшокъ, который незамѣтно для старика сползъ съ его спины, какъ только онъ переступилъ порогъ.

— Похоронили они меня, вишь ты... похоронили... Дворникъ-то испугался, видитъ, что я пришелъ... Другого на мое мѣсто опредѣлили, щенка съ Охты... а меня-то похоронили, и щенокъ-то этотъ говоритъ. «Ты», говоритъ «умеръ»... умеръ..

Старикъ безпомощно опустилъ голову и замолкъ. Руки и ноги Тани тряслись, испуганные глаза ея, остановившись на мертвенно-блѣдномъ лицѣ отца, расширились, тая какое-то странное выраженіе.

— Лягъ, тятенька, на постель!.. лягъ!.. Вотъ, говорила я: не ходи, полежи да полѣчись... вотъ и вышло...

— «Не ходи!.. полежи...» а тамъ-то — щенокъ съ Охты...

Старикъ хотѣлъ еще что-то сказать, но вдругъ, схватившись за грудь, захрипѣлъ. Таня поднесла къ его губамъ ковшъ и онъ съ прежней жадностью сталъ глотать сырую воду. Скоро дѣвушка уложила отца въ постель, прикрыла одѣяломъ и вернулась къ смолкнувшей машинкѣ. Въ комнатѣ опять затрещалъ челнокъ, и Таня не слышала, какъ тяжело хрипѣлъ и глубоко дышалъ ея больной отецъ.

Часъ спустя вернулся Ѳедя съ ношей тряпья, бумажекъ, склянокъ и коробочекъ. Разложивъ на полу содержимое мѣшка, онъ сортировалъ свое богатство и, видимо, было доволенъ добычей. Порывшись въ мѣшкѣ отца, мальчикъ отшвырнулъ его въ сторону и проговорилъ:

— Вѣрно, опять хуже ему?

Таня не разслышала замѣчанія брата.

Видя тяжело дышавшаго Федотыча, дѣти рѣшили не тревожить его, и поужинали вдвоемъ. Когда Ѳедя, примостившись на лавкѣ возлѣ отца, заснулъ, въ полутемномъ подвалѣ еще долго трещалъ неугомонный челнокъ швейной машины.

III.

Утромъ, на другой день, Таня проснулась рано и вся дрожала. По утрамъ обыкновенно въ ихъ

квартирѣ было холодно: истопленная наканунѣ печь за ночь остывала, отъ потолка, стѣнъ и пола отдавало какой-то промозглой сыростью. Раздвинувъ на окнахъ занавѣски, Таня умылась, поставила самоваръ и принялась поить брата чаемъ. Федотычъ все еще лежалъ въ постели, но, видимо, не спалъ. Онъ часто ворочался съ боку на бокъ, глубоко вздыхалъ, иногда поднималъ руку съ желаніемъ ухватиться за что-то, но рука безпомощно опускалась. Старикъ глухо ворчалъ, словно сердясь на свое безсиліе. Братъ и сестра смотрѣли на отца съ какимъ-то испугомъ въ глазахъ и все время говорили шепотомъ. Не разъ дѣвушка подходила къ постели больного, заглядывала въ его лицо съ полуоткрытыми глазами и отходила пр чь. Разъ она даже окликнула отца, но не получила отвѣта. Скоро Ѳедя ушелъ на промыселъ, а Таня осталась съ больнымъ отцомъ. Усѣвшись къ окну за машинкой, она продолжала работать, по временамъ останавливалась, бросала косой взглядъ въ сторону отца и опять шила.

Около полудня, когда возвратившійся мальчуганъ и Таня обѣдали, къ нимъ пришла сосѣдка, старушка Анфиса Ивановна. Это было крошечное дрябленькое существо съ морщинистымъ лицомъ, желтымъ и худымъ, и слезящимися узенькими глазками. Какъ мать родная, относилась она къ сироткамъ Ѳедѣ и Танѣ. Она была свидѣтельницей смерти ихъ матери, съ которой была дружна и, схоронивши подругу, перенесла всю свою любовь на ея дѣтей. Старушка почти каждый день заходила въ сосѣдній подвалъ, по-долгу бесѣдуя съ Федотычемъ и Таней, выручала семью тряпичниковъ рублевкой—другой, когда дѣла ихъ складывались неважно, никогда не отказывала въ мелочахъ по хозяйству, которыми часто обмѣниваются

ближайшіе по квартирамъ сосѣди. Во время болѣзни Федотыча собственноручно ставила она банки старику и прикладывала къ шеѣ горчичники, когда больной жаловался на страшную головную боль.

Войдя въ комнату, Анфиса Ивановна помолилась и, увидя на постели Федотыча, прошептала:

— Что, спитъ? Вѣрно, опять? Не надо бы ходить-то...

Старушка тихонько подошла къ постели и заглянула въ лицо Федотыча, который лежалъ, отвернувшись къ стѣнѣ.

— Плохъ онъ... плохъ! въ больницу бы его...

Замѣчаніе старухи не произвело никакого впечатлѣнія ни на Таню, ни на мальчугана. Всякій разъ, когда отецъ больнымъ валялся въ постели, они терялись отъ сознанія собственной безпомощности, а потомъ какъ-то скоро свыкались съ положеніемъ и становились равнодушными. Только порой въ глазахъ дѣвушки отражался испугъ, и сама она притихала.

— Пойти съ Кирилломъ Иванычемъ поговорить,—проговорила старуха и вышла.

Толстяка-управляющаго домомъ она нашла во дворѣ: онъ слѣдилъ за тѣмъ, какъ дворники складывали въ сарай только что привезенныя дрова. Сама не зная, для чего, она разсказала толстяку о болѣзни тряпичника. Тотъ равнодушно выслушалъ старуху, нахмурилъ почему-то брови и, не проронивъ ни слова, пожалъ плечами.

Часа въ четыре Таня была страшно перепугана отцомъ. Сидѣла она около окна и обметывала петли только что сшитой кофточки. Наступали раннія декабрьскія сумерки, и въ комнатѣ становилось темно. Федотычъ вдругъ какъ-то сорвался

съ постели, сѣлъ на матрацъ, спустивъ ноги, и хрипло спросилъ:

— Таня!.. голубушка!.. похоронили они меня... похоронили...

Таня поднялась съ мѣста и съ испугомъ въ глазахъ придвинулась къ больному.

— Похоронили они... и дворникъ, и тотъ щенокъ-то съ Охты... Похоронили...

Старикъ дико ворочалъ глазами и судорожнымъ движеніемъ пальцевъ мялъ конецъ одѣяла. Таня поднесла къ губамъ больного ковшъ съ водою, со страхомъ заглядывая въ широко-раскрытые, воспаленные глаза отца. Онъ продолжалъ говорить что-то, но ни одного слова уже нельзя было разобрать: голосъ его становился глухимъ и хриплымъ.

— Тятенька, лягъ!.. лягъ!..—проговорила дѣвушка и быстро выбѣжала за дверь. Скоро она вернулась въ сопровожденіи Анфисы Ивановны.

— Танюшка... касатка... вѣрно, скоро!—шептала старушка, прижимаясь къ дѣвушкѣ и смотря на Федотыча—Иванъ Кирилычъ говоритъ, непремѣнно въ больницу надо, потому—изъ участка приказывали: болѣзнь какая-то по городу ходитъ. Я, дура, пошла къ нему, подождать-бы... Куда ему въ больницу: человѣкъ душеньку праведную Богу отдаетъ... Попа бы позвать...

Старушка убѣжала, бормоча про себя о попѣ и о душенькѣ больного, которой надо отпустить грѣхи вольные и невольные. Имя Бога не сходило съ устъ перепугавшейся старушки, пока она бѣжала по двору до квартиры Кирилла Ивановича.

Судьба, однако, рѣшила иначе. Не прошло и часу, какъ въ подвалѣ появились околоточный, Кириллъ Ивановичъ и докторъ. Послѣдній подошелъ къ больному, при свѣтѣ лампочки осмотрѣлъ

его и, отступивъ шага два назадъ, сообщилъ околоточному, что зараженнаго дифтеритомъ надо сію-же минуту отправить въ больницу, подвалъ продезинфецировать и живущихъ въ немъ изолировать.

— Вонъ, полюбуйтесь, какая у нихъ мерзость лежитъ!—съ презрительной миной на лицѣ проговорилъ докторъ, указывая на кучу тряпья, разсортированнаго Ѳедей еще наканунѣ.

— Да, да... тряпичники они... я говорилъ... я думалъ...—сбивчиво говорилъ Кириллъ Ивановичъ, боясь, что эта непріятность отзовется и на немъ.

— Плохо смотрите за квартирами,—сухо промолвилъ докторъ и направился къ выходу.

Черезъ часъ Федотыча увезли въ больницу, а весь подвалъ перерыли и продезинфецировали все небогатое имущество тряпичниковъ и собранный ими хламъ. Околоточный, все время наблюдавшій за процессомъ дезинфекціи, ворчалъ на Таню за безпорядокъ и нечистоту.

Прижавшись къ стѣнѣ, дѣвушка молча выслушивала выговоръ околоточнаго и недоумѣвала — почему онъ такъ сердится, зачѣмъ онъ ворвался въ квартиру и распоряжается ихъ имуществомъ. Разсмотрѣвъ бритое, немного одутловатое лицо полицейскаго, съ брезгливой складкой на губахъ и съ холоднымъ выраженіемъ въ глазахъ, она почувствовала страхъ къ этому человѣку, и чѣмъ больше внушалъ онъ ей боязнь, тѣмъ труднѣе ей было отвѣчать на его вопросы. Онъ разспрашивалъ Таню, чѣмъ занимается она, сколько зарабатываетъ шитьемъ, и что будетъ дѣлать, когда умретъ отецъ. Послѣдній вопросъ особенно смутилъ дѣвушку.

— А въ горничныхъ ты не служила? — спросилъ онъ послѣ небольшой паузы.

— Нѣтъ, — тихо отвѣтила дѣвушка.

— А въ нянькахъ?

Таня отрицательно покачала головою и отвернулась. Околоточный окинулъ ее какимъ-то страннымъ взглядомъ, словно измѣряя ея фигуру, и также отвернулся и принялся командовать какими-то мужиками въ блузахъ и передникахъ.

Вечеромъ того же дня слегъ въ постель и Ѳедя, но его скоро отправили въ больницу вслѣдъ за отцомъ.

Оставшись одна, Таня съ ужасомъ въ глазахъ осмотрѣлась по сторонамъ — и при видѣ разгрома въ квартирѣ ее обдало холодомъ. Быстро потушила она лампочку, ощупью въ потемкахъ добралась до двери, заперла квартиру на замокъ и ушла къ Анфисѣ Ивановнѣ.

Дня черезъ два подвалъ, гдѣ больше десяти лѣтъ прожилъ Федотычъ съ семьей, окончательно опустѣлъ. Дверь въ темное, смрадное, пропитанное заразою помѣщеніе была забита по распоряженію полиціи. Больше уже не свѣтился огонекъ въ двухъ узкихъ оконцахъ, лежавшихъ почти у самой мостовой, а по ночамъ мрачный и страшный призракъ смерти бродилъ въ заброшенномъ жильѣ, пугая черезъ темныя окна прохожихъ узкаго и глухого переулка.

ВЕШНІЙ СНѢГЪ.

(Очеркъ).

Раздѣляя участь немногихъ неудачниковъ, Разумовы вынуждены были жить въ Шуваловѣ на дачѣ, не смотря на суровую зиму.

Нижній этажъ дачнаго флигеля, гдѣ они жили, выходилъ террасой въ крошечный садикъ, отгороженный отъ улицы досчатою изгородью; отъ узкой калитки къ крыльцу вела неширокая тропинка, проложенная въ сугробахъ снѣга.

Кругомъ дачи въ безпорядкѣ стояли толстыя березы съ ноздреватой корой и тонкостволыя сосны и ели, и въ зимнія вьюги въ сѣткѣ ихъ вѣтокъ вылъ и стоналъ суровый вѣтеръ. Иногда вѣтки деревьевъ покрывались бѣлымъ пушистымъ инеемъ, тонкой бѣлесоватой пеленой застилались стѣны флигеля, терраса и крыльцо,—и тогда вся крошечная дачка походила на игрушечный фарфоровый домикъ...

Иногда, въ ясный день, въ окно ихъ дачи засматривало солнышко, и его скупые на тепло лучи, пронизывая позеленѣвшія отъ времени стекла оконъ, ложились на дешевыхъ обояхъ стѣнъ тусклыми четырехъ-угольниками. А когда солнышко пряталось за деревья сада, на обстановку ложились полутона свѣта и тѣней.

Борисъ Николаевичъ, какъ ребенокъ, радовался, когда свѣтило солнышко и, сидя съ книгой или газетой у широкой двери на террасу, не читалъ, а цѣлыми часами смотрѣлъ на темно-голубое небо, съ бѣлыми тяжелыми облаками, и слѣдилъ за солнышкомъ, которое съ каждой минутой опускалось ниже и ниже и, погружаясь въ кисею бѣлыхъ облаковъ, блѣднѣло и, наконецъ, скрывалось.

Борисъ Николаевичъ откладывалъ въ сторону книгу или газету, закуривалъ папиросу, поднимался со стула, тихо ступая по полу войлочными туфлями, проходилъ въ столовую, смотрѣлъ на циферблатъ будильника и снова возвращался въ зало, насупивъ брови и поминутно запахивая полы лѣтняго пальто, замѣнявшаго ему халатъ.

Простой металлическій будильникъ былъ вторымъ предметомъ его вниманія. Его тонкія, темныя стрѣлки указывали, сколько осталось еще длинныхъ минутъ до момента возвращенія изъ города Натальи Ивановны.

— Наташа! Наташа! Скоро-ли ты вернешься?— съ тоской на душѣ спрашивалъ онъ самъ себя, присаживаясь у стеклянной двери на террасу и снова глядя на улицу и поджидая, когда мимо изгороди промелькнетъ тонкая и высокая фигура жены, въ короткомъ жакетѣ, отороченномъ сѣрымъ барашкомъ, и въ сѣрой барашковой шапочкѣ.

А когда вернувшаяся изъ города Наташа стукнетъ калиткой, онъ сорвется съ своего мѣста, быстро пройдетъ въ переднюю и, не дожидаясь звонка, распахнетъ дверь и съ улыбкой на счастливомъ лицѣ непремѣнно скажетъ:

— Озябла, дружокъ мой?.. Скорѣе раздѣвайся, обѣдъ давно ждетъ тебя!..

Онъ поможетъ Натальѣ Ивановнѣ раздѣться, возьметъ ея холодныя руки въ свои горячія ла-

дони и прильнетъ губами къ ея тонкимъ пальцамъ, потомъ примется цѣловать ее въ губы, въ щеки и въ глаза.

Потомъ они садятся обѣдать и Наталья Ивановна принимается сообщать мужу новости изъ политической, общественной или изъ городской жизни. Въ ихъ редакцію большой петербургской газеты всѣ эти новости попадаютъ быстро, тотчасъ-же обсуждаются среди сотрудниковъ, и Наталья Ивановна всегда возвращается домой подъ впечатлѣніемъ споровъ и разговоровъ на жгучія темы. Каждый почти день Наталья Ивановна привозитъ домой кипу книгъ, газетъ и журналовъ—и все это для своего скучающаго, выбитаго изъ колеи жизни, мужа.

Вотъ уже три года Борисъ Николаевичъ не у дѣлъ, и за все это время Наталья Ивановна ни однимъ словомъ, ни однимъ взглядомъ не давала понять мужу, что такая жизнь—не нормальна. Въ этомъ, впрочемъ, и не было нужды.

Борисъ Николаевичъ и самъ прекрасно понималъ, что жизнь, какую онъ ведетъ, не нормальна, но что-же онъ можетъ сдѣлать съ собою, если воля его ослабла, энергія притупилась и въ немъ упало и замерло все живое, все жизнедѣятельное, что когда то дѣлало его энергичнымъ, трудоспособнымъ и даже отзывчивымъ къ другимъ.

Теперь какъ будто и этой отзывчивости нѣтъ: онъ ушелъ въ себя, въ свою затаенную злобу на кого-то, въ свое разочарованіе, и мрачно стало на душѣ и пусто въ сердцѣ. Словно изъ него высосали всѣ жизненные соки и чѣмъ-то отравили больной усталый мозгъ.

Въ глубинѣ души онъ глубоко презиралъ себя, ни разу не смягчилъ этого презрѣнія сожалѣніемъ и состраданіемъ къ себѣ, а когда Наталья Ива-

новна принималась утѣшать мужа, говоря, что его «состояніе»—временно, что это отдыхъ послѣ трудной скитальческой жизни,—онъ не вѣрилъ женѣ и просилъ ее не лгать ни предъ собою, ни предъ нимъ.

— Не говори этого, Наташа! Не успокаивай меня и не обманывай себя! Я палъ окончательно и не поднимусь!.. Мнѣ сорокъ лѣтъ! Сорокъ лѣтъ!.. Какъ это ужасно!.. Если-бы мнѣ было четыре года, я безумно счастливыми глазами смотрѣлъ-бы на жизнь... а теперь—кончено... кончено...

Онъ въ унынiи замолкалъ, сжимая въ пальцахъ окурокъ потухшей папиросы, потомъ поднималъ глаза и тихимъ упавшимъ голосомъ продолжалъ:

— Вѣрь мнѣ, Наташа, если я не рѣшаюсь покончить съ собою, то только потому, что люблю тебя и въ этой любви сконцентрировались всѣ мои радости... Всю жизнь преслѣдовали меня неудачи, но я казался самому себѣ крѣпкимъ и выносливымъ! Всю жизнь дѣлалъ гадости и утѣшалъ себя, находя оправданіе въ чемъ-то, и все мое поведеніе казалось мнѣ безупречнымъ... А тутъ вотъ случилось иначе. Встрѣтился я съ тобою—и надо бы начать новую жизнь, а струны-то во мнѣ всѣ ослабли и душа измельчала... Помнишь, тотъ страшный-то случай!.. Ты, чистая и хорошая, указала мнѣ на тотъ фактъ... Помнишь, дѣло Серебрякова... Я взялъ съ него пять тысячъ рублей и, зная, что онъ мерзавецъ и подлецъ, зная, что онъ во всемъ виноватъ, зная, что онъ обидѣлъ сиротъ Вязниковыхъ,—я все-таки обѣлилъ его... Я вралъ на судѣ, увѣряя присяжныхъ, что мой кліентъ чистъ и непороченъ, и они, болваны, повѣрили мнѣ и оправдали преступника... А ты, помнишь, тогда подошла ко мнѣ, посмотрѣла на кучку кредитокъ, которыя

я принесъ отъ Серебрякова, и ничего не сказала... только заплакала...

Онъ часто вспоминаетъ эту сцену изъ ихъ прошлаго и тогда онъ говоритъ тихимъ подавленнымъ голосомъ, Наталья Ивановна съ трудомъ сдерживаетъ тяжелыя мучительныя слезы, а когда его голосъ дрогнетъ и оборвется,—она припадетъ къ его груди и зарыдаетъ.

Онъ нѣжнымъ прикосновеніемъ рукъ подниметъ ея голову со своей груди, повернетъ къ себѣ ея заплаканное лицо и примется ее успокаивать, цѣлуя ея руки, лицо, волосы и шепча: «милая, дорогая... чистая!..».

Послѣ такой сцены они-по долгу, обыкновенно, сидятъ молча, прижавшись другъ къ другу и тяжело дыша.

— Ты не суди меня, голубчикъ, и за то, что я потерялъ образъ человѣческій и пью... пью... цѣлыми недѣлями... Но надо-же чѣмъ нибудь затуманить голову, надо-же чѣмъ нибудь заглушать совѣсть, а она проснулась во мнѣ!.. Поздно проснулась, но все-таки проснулась... Можетъ быть, это состояніе, дѣйствительно, временное, и я воспряну, обновлюсь и начну новую жизнь... Впрочемъ, нѣтъ! не вѣрь этому! Моя болѣзнь не временная,—я умру такимъ, съ какимъ ты теперь мучаешься...

Послѣднихъ словъ Наталья Ивановна не могла слышать, и когда въ отчаяніи ихъ произносилъ Борисъ Николаевичъ,—она закрывала ладонью его ротъ и съ болью въ душѣ шептала:

— Замолчи!.. милый, дорогой! Не говори такъ! Не думай этого!..

И они снова долго сидѣли молча.

Въ окна ихъ дачи уже не свѣтило солнышко. Рано наступившія зимнія сумерки густыми тѣнями

окутали обстановку; за окнами въ бѣлыхъ саванахъ снѣга стоятъ сосны и ели и, тихо покачивая верхушками, гудятъ и гудятъ...

Борисъ Николаевичъ и Наталья Ивановна впервые повстрѣчались лѣтъ шесть тому назадъ, въ провинціи.

Онъ въ это время занимался адвокатской практикой и не могъ похвастаться обиліемъ работы, несмотря на знакомства и связи съ обывателями родного ему города. Немного замкнутый въ себя, не словоохотливый и не пронырливый, Борисъ Николаевичъ не умѣлъ пріобрѣтать кліентовъ съ тойже быстротою, на которую были способны многіе изъ его коллегъ. Въ мѣстномъ окружномъ судѣ ему также почему-то не повезло и только послѣ десятилѣтней практики дѣла нѣсколько улучшились.

Схоронивъ мать и выдавъ замужъ сестру, зажилъ онъ одиноко и впервые почувствовалъ тяжесть одиночества, которое не всегда способны были сгладить условія провинціальной жизни.

Вся городская интеллигенція трудилась на разныхъ поприщахъ, не замѣчая, какъ идутъ года и какъ жизненныя условія измѣняютъ духовную жизнь каждаго интеллигента, приближая его къ идеалу обывателя.

За этой обывательщиной Борисъ Николаевичъ наблюдалъ зорко, боялся ея, стараясь поддержать въ себѣ иную закваску, съ какой онъ вернулся въ родной городъ изъ Петербурга, но пятнадцатилѣтній періодъ оказался довольно вязкой трясиной, изъ которой не всякому суждено выбраться сохранившимся.

Незамѣтно забылъ многое изъ прошлаго и Борисъ Николаевичъ и, когда онъ повстрѣчался съ

Натальей Ивановной, только тогда и оцѣнилъ, въ какой степени пыль и грязь обывательщины заглушали въ немъ ростки иныхъ потребностей и запросовъ жизни; сообразно этому измѣнилась и его жизнь.

Наталья Ивановна, только-что кончившая высшіе курсы, пріѣхала въ провинцію съ цѣлью учительствовать. Тайнымъ намѣреніемъ ея было еще и желаніе познать провинцію, этого сфинкса, какимъ она представлялась молодой дѣвушкѣ, родившейся въ Петербургѣ и выросшей въ условіяхъ столичной жизни.

Подчиняясь неодолимому тяготѣнію къ литературѣ, Наталья Ивановна, еще будучи курсисткой, начала помѣщать въ столичныхъ газетахъ свои переводы, небольшія статейки и даже стихи, которые ей, впрочемъ, не удавались. Уѣзжая въ провинцію, она утѣшала себя надеждою, что въ условіяхъ иной жизни почерпнется новый матеріалъ, который она и намѣревалась использовать въ своихъ корреспонденціяхъ и отчетахъ изъ провинціальной жизни.

Послѣднее ей вполнѣ удалось, но какъ-то не надолго: въ гимназіи, гдѣ она начала учительствовать, обрушился на нее рядъ неожиданныхъ бѣдъ, главнымъ образомъ, благодаря несходству взглядовъ на обученіе и воспитаніе дѣвицъ, которые были руководящими въ дѣятельности молодой учительницы и которые признавались «не своевременными и не приложимыми» со стороны гимназическаго начальства и большинства старыхъ педагоговъ.

Все свое разочарованіе Наталья Ивановна излила въ своихъ корреспонденціяхъ въ одну изъ распространенныхъ столичныхъ газетъ, и это вы-

звало новую бурю, порвавшую связь «непокладистой» учительницы съ гимназіей.

Наталья Ивановна завелась частными уроками и въ это время повстрѣчалась съ Борисомъ Николаевичемъ.

Натальѣ Ивановнѣ быстро и безъ всякаго труда удалось пробудить въ Борисѣ Николаевичѣ бывшаго интеллигента, вмѣстѣ съ тѣмъ, безъ стараній и намѣреній съ своей стороны, она разбудила въ немъ и сердце.

Они быстро поняли другъ друга, быстро сошлись и повѣнчались. Трудясь на разныхъ поприщахъ, молодожены одинаково пользовались своимъ досугомъ. Они внимательно слѣдили за литературой и настроеніями въ обществѣ, старались быть полезными и для провинціи, устраивая чтенія и спектакли, организуя библіотеки и воскресныя школы и классы.

Увлеченная своей работой, Наталья Ивановна не особенно вникала въ условія адвокатской дѣятельности мужа и только совершенно случайно узнала эту «скрытую тайну», какъ она называла его дѣятельность.

Въ городѣ на глазахъ у всѣхъ разыгралась страшная семейная драма. Нѣкто Серебряковъ, опекунъ малолѣтнихъ сиротъ, такъ ловко запуталъ дѣло послѣднихъ, что изъ опекуновъ сдѣлался претендентомъ на опекаемое имущество. Когда Борису Николаевичу удалось защитить обвиняемаго, преступность котораго не вызывала сомнѣнія въ глазахъ мѣстнаго общества,—его коллеги завидовали успѣху до сихъ поръ не особенно замѣтнаго адвоката, но за то въ обществѣ всѣ въ одинъ голосъ обвиняли Бориса Николаевича, упрекая его пятитысячнымъ гонораромъ, полученнымъ за веденіе дѣла.

Борисъ Николаевичъ первый разъ съ тревогою прислушивался къ мнѣнію общества, и это пробудило въ немъ критику. Ему легко удалось припомнить и еще такіе-же случаи изъ практики, когда удавалось реабилитировать завѣдомо преступныхъ кліентовъ или смягчить ихъ участь. Правда, на его пямяти были и такія дѣла, въ которыхъ онъ явился дѣйствительно защитникомъ напрасно осуждаемыхъ, но такихъ дѣлъ было немного, да и велико-ли еще это добро по сравненію съ тѣмъ зломъ, какое онъ совершилъ, удачно защитивъ Серебрякова?

Сцена, когда Борисъ Николаевичъ принесъ домой заработанныя пять тысячъ, никогда, кажется, не изгладится изъ его памяти. Съ какой-то необъяснимой печалью въ глазахъ посмотрѣла на эти деньги тогда Наталья Ивановна и, дѣйствительно, ничего не сказала, а только заплакала.

И съ этого момента начался поворотъ въ жизни Бориса Николаевича. Онъ теперь не сомнѣвался въ своемъ нравственномъ паденіи, и въ немъ сразу замерла надежда на исправленіе. Супруги долго не могли прикоснуться къ этимъ злосчастнымъ серебряковскимъ деньгамъ, и на этой почвѣ у нихъ произошло нѣсколько непріятныхъ объясненій, изъ которыхъ одно едва не кончилось крупной размолвкой.

Ссоры между Борисомъ Николаевичемъ и Натальей Ивановной стали повторяться чаще и чаще, и съ теченіемъ времени прежняя дружба смѣнилась открытой враждой.

Чтобы подавить душевную боль, Наталья Ивановна старалась уйти въ дѣла по библіотекѣ и въ занятіе въ воскресной школѣ, а Борисъ Николаевичъ сталъ искать утѣшеній на сторонѣ, съ средѣ скучающей губернской интеллигенціи, и началъ пить.

Адвокатскую практику онъ совершенно покинулъ, давъ себѣ слово никогда не возвращаться къ этому сомнительному дѣлу.

— Бѣдняковъ кліентовъ мы съ вами не будемъ защищать,—говорилъ онъ своимъ бывшимъ коллегамъ, — потому что они не прокормятъ насъ, а хлѣбосольные богачи—несносны и ненависты мнѣ!..

Продолжая дальнѣйшую проповѣдь въ этомъ духѣ, Борисъ Николаевичъ никого и ни въ чемъ не убѣдилъ, вооруживъ противъ себя всѣхъ своихъ бывшихъ товарищей по работѣ, и окончательно порвалъ съ ними связь.

Его нравственная связь съ женой также какъ будто порвалась, по крайней мѣрѣ, такъ казалось обоимъ супругамъ. Они продолжали жить вмѣстѣ и взаимная отчужденность была тяжела для обоихъ. Разочарованная въ мужѣ Наталья Ивановна разочаровалась въ прелестяхъ семейнаго очага и, проклиная себя за мимолетное влеченіе къ личному счастью, стала искать утѣшенія въ общественной работѣ.

Потомъ, когда она убѣдилась, что Борисъ Николаевичъ не безнадежно погибшій человѣкъ, было уже поздно возстановить душевное равновѣсіе въ послѣднемъ.

Къ разочарованію Бориса Николаевича въ адвокатурѣ, какъ въ общественной дѣятельности, прибавилось разочарованіе въ томъ, къ чему онъ привязался послѣ долгихъ лѣтъ одиночества: онъ увѣрилъ себя, что его Наташа потеряна для него навсегда, и совершенно опустился.

Борисъ Николаевичъ уѣхалъ въ Петербургъ въ надеждѣ подыскать какое-либо занятіе, такъ какъ въ родномъ городѣ, гдѣ онъ себя опозорилъ, ему противно и ненавистно было все, что напоминало ему о его паденіи. Въ Петербургѣ онъ цѣлые пол-

года слонялся безъ дѣла, проживая остатки ненавистныхъ ему серебряковскихъ денегъ и, наконецъ, заболѣлъ бѣлой горячкой; подобравъ на улицѣ, его помѣстили въ больницу.

Его страстное, безумно отчаянное письмо къ женѣ потрясло Наталью Ивановну, и когда она прочла строки, въ которыхъ Борисъ Николаевичъ описывалъ о томъ, какъ онъ хотѣлъ отравиться или броситься съ Литейнаго моста въ Неву и, долго нося въ себѣ эти мрачныя мысли, звалъ къ себѣ свою дорогую Наташу,—молодая женщина бросила всѣ свои занятія и поѣхала въ Петербургъ. Мужа она нашла въ Обуховской больницѣ, въ ужасной обстановкѣ, и они оба вновь примирились и начали новую петербургскую жизнь.

Наталья Ивановна занялась уроками и литературой, а Борисъ Николаевичъ подыскивалъ себѣ подходящихъ занятій. Вздумалъ было онъ заняться журналистикой, но изъ этой попытки ничего не вышло, и съ тѣхъ поръ началась его ненормальная жизнь. Онъ уже пересталъ искать себѣ занятій, живя какой-то странной мечтой. Ему представлялось, что вотъ-вотъ пройдетъ еще недѣля или мѣсяцъ, или годъ и явится какой-то человѣкъ или сложатся такъ обстоятельства жизни, что все, чѣмъ онъ теперь жилъ, перемѣнится, ему укажутъ на какое-то дѣло и онъ горячо возьмется за него. Перечитывая цѣлыми днями газеты, журналы и книги, онъ воображалъ, что подготовляется къ новой работѣ, и что уже совсѣмъ немного осталось времени до того момента, когда его призовутъ къ новой дѣятельности и къ новой жизни.

Жить все время этимъ самообманомъ невозможно было, и Борисъ Николаевичъ вынужденъ былъ прибѣгать къ средству, затушевывающему больной мозгъ: удрученный одной и той-же без-

плодной, роковою мыслью, Борисъ Николаевичъ пилъ. Періодъ безпрерывнаго опьяненія длился обыкновенно, не больше недѣли, потомъ наступалъ періодъ отрезвленія недѣли на три, на мѣсяцъ, а иногда и больше, что зависѣло отъ внѣшнихъ обстоятельствъ или отъ личныхъ настроеній больного.

Наталья Ивановна прекрасно знала, что, при желаніи, она можетъ оттянуть роковой моментъ, когда Борисъ Николаевичъ вынужденъ будетъ тихонько отъ нея послать кухарку за водкой. Покупалъ водку онъ всегда тайно отъ жены, прячась отъ нея, выпивалъ первыя двѣ-три рюмки, а потомъ уже пилъ въ открытую, все чаще и чаще уходя въ прихожую за печку, гдѣ у него на полу стояла бутылка водки, съ стаканчикомъ, опрокинутымъ на горлышко бутылки вмѣсто пробки.

По опыту Наталья Ивановна знала, что уговорить мужа въ такихъ случаяхъ и просить его не пить—совершенно напрасная попытка, и она старалась показывать видъ, будто не замѣчаетъ поведенія мужа, что всегда радовало Бориса Николаевича.

Всю минувшую зиму Наталья Ивановна опасалась за жизнь и здоровье мужа.

Съ самой осени, когда наступили короткіе, ненастные дни и хмурыя темныя ночи, Борисъ Николаевичъ пилъ почти безпрерывно. Наступившіе короткіе періоды отрезвленія не радовали ни его самого, ни Наталью Ивановну.

По утрамъ онъ провожалъ жену въ городъ, цѣлуя ея руки и вымаливая у нея прощенія.

— Вотъ подожди, голубчикъ Наташа, все это скоро пройдетъ... Я чувствую, что скоро я всю эту гадость брошу и вернусь къ настоящей жизни. Я чувствую это, я не сомнѣваюсь въ этомъ!..—

бормоталъ онъ съ виноватымъ видомъ, запахивая полы лѣтняго пальто.

Она съ тоской смотрѣла въ его глаза, полные слезъ, и тихо повторяла:

— Да, да, Боря... Я тоже не сомнѣваюсь въ этомъ... Ты скоро поправишься, примешься за свои записки, которыя теперь обдумываешь, и мы заживемъ новой жизнью...

— Новой, Наташа, новой жизнью,—соглашался онъ, не выпуская ея рукъ.

Иногда онъ со слезами на глазахъ молилъ жену не уѣзжать въ городъ и не оставлять его одного, и Наталья Ивановна оставалась дома. Въ такіе дни онъ, обыкновенно, меньше пилъ, и Наталья Ивановна, скрѣпя сердце, думала о газетной работѣ, которою приходилось манкировать.

Оставаясь одинокимъ, Борисъ Николаевичъ цѣлыми днями ходилъ по комнатамъ и часто завертывалъ въ прихожую, гдѣ хранилась роковая бутылка съ водкой. Ѣлъ онъ въ такихъ случаяхъ мало, скоро ослабѣвалъ и засыпалъ тяжелымъ сномъ, бормоча какіе-то безсвязныя фразы или отдѣльныя слова.

Послѣ масляницы Борисъ Николаевичъ слегъ въ постель и Наталья Ивановна не на шутку струсила за его жизнь. Приглашенные доктора никакой помощи не оказали больному и ни чѣмъ не порадовали Наталью Ивановну.

При видѣ мужа, обрюзглаго, съ багровымъ лицомъ, мутными глазами и съ трясущимися руками, Наталья Ивановна приходила въ ужасъ.

Теперь ей уже не рѣдко приходилось оставаться около больного въ качествѣ сидѣлки. Въ минуты просвѣтленія Борисъ Николаевичъ бралъ руку жены, цѣлуя, гладилъ ее своими трясущи-

мися пальцами и не громко, прерывающимся голосомъ, говорилъ:

— Ты не сердись на меня, Наташа, мой дружекъ... Изъ-за меня ты здѣсь остаешься, а тебѣ надо работать... Газетная работа — святая работа, и я отрываю тебя отъ нея... Скоро, голубчикъ, все это пройдетъ, скоро... Только ты не отказывай мнѣ въ этомъ...—и онъ жестомъ ослабѣвшей руки указывалъ на бутылку съ водкой...

Она, какъ лекарство, наливала въ стаканчикъ водку и передавала мужу. Онъ выпивалъ, морщясь и кашляя, и затихалъ, забрасывая на подушку голову съ полузакрытыми глазами.

— Да... скоро все это пройдетъ, скоро... Я чувствую, что это послѣдній пароксизмъ. Я отравлю въ себѣ остатки того ужаснаго червячка, который сосетъ мое сердце, и буду здоровъ душой и тѣломъ,—тихо говорилъ онъ, лежа на подушкѣ съ закинутой головою. — Я самъ раньше не вѣрилъ въ свои силы, думая, что воля моя порабощена... Оказывается, это неправда: я возрождаюсь къ новой жизни... да... къ новой...

Послѣднихъ словъ Наталья Ивановна не понимала и, когда Борисъ Николаевичъ замолкалъ, она тихо поднималась, уходила въ сосѣднюю комнату и принималась за работу, которая въ такихъ случаяхъ не спорилась и тяготила молодую женщину.

Всю зиму она жила въ отчаяніи, наблюдала, какъ постепенно угасаетъ жизнь близкаго и дорогого ей человѣка. Она по прежнему любила его, съ болью за свое безсиліе помочь, искала способовъ, чѣмъ-бы можно было исцѣлить мужа, и результатомъ этого явилось еще большее отчаяніе.

Весною съ Борисомъ Николаевичемъ произошла какая-то непонятная перемѣна. Онъ вдругъ бро-

силъ пить, оставилъ постель, разстался съ своимъ лѣтнимъ пальто, замѣнивъ его пиджакомъ, но вся эта перемѣна не порадовала Натальи Ивановны.

Онъ сталъ необыкновенно угрюмъ и молчаливъ, нерѣдко выходилъ изъ дома и бродилъ по узкимъ улицамъ дачной мѣстности. Возвращаясь домой усталымъ и еще больше угрюмымъ, онъ бралъ въ руки газету, дѣлая видъ, что читаетъ, и все обдумывалъ что-то упорно и не повѣряя своихъ думъ близкому человѣку.

Когда растаялъ снѣгъ и пахнуло весною, Борисъ Николаевичъ собственноручно выставилъ вторыя рамы оконъ, открылъ на террасу дверь и, когда изъ города возвращалась Наталья Ивановна, торжественно объявилъ о наступленіи весны.

— Теперь не будетъ этихъ противныхъ зимнихъ вьюгъ!—говорилъ онъ, улыбаясь:—ты смотри, какъ свѣтитъ солнышко, скоро лопнутъ на березахъ почки и трава зазеленѣетъ.

Глядя на мужа, Наталья Ивановна радовалась: онъ показался ей инымъ, какимъ она давно уже его не видала.

Борисъ Николаевичъ обилъ парусиною террасу, посыпалъ дорожки садика пескомъ и большую часть дня теперь проводилъ на воздухѣ. О водкѣ онъ, какъ будто, совершенно забылъ за это время и, въ этомъ отношеніи, пересталъ безпокоить жену.

Какъ-то разъ, послѣ теплаго яснаго дня, Борисъ Николаевичъ настоялъ, чтобы вечерній чай былъ поданъ на террасу. Наталья Ивановна уступила просьбѣ мужа и они отпраздновали встрѣчу весны чаепитіемъ на террасѣ. Одѣвши теплый жакетъ и накинувъ на плечи платокъ, Наталья Ивановна добродушно посмѣивалась надъ мужемъ, но, наконецъ, и ему пришлось одѣть пальто и шляпу.

— А все-таки хорошо весною!—говорилъ онъ:— я чувствую какой-то новый приливъ силъ! Радость какая-то на душѣ!..

Онъ смотрѣлъ на оголенныя вѣтви березъ и издали силился разсмотрѣть темно-красныя почки, готовыя лопнуть и распуститься зелеными листочками.

— Только опять что-то небо понахмурилось,— черезъ минуту продолжалъ онъ и съ тоской въ глазахъ посмотрѣлъ на темныя лохматыя облака, плывшія надъ верхушками деревьевъ.

Вечеромъ они сидѣли на дачѣ, гдѣ пришлось затопить печь, такъ какъ къ ночи температура упала, подулъ рѣзкій вѣтеръ съ дождемъ, въ саду закачались верхушки деревьевъ. Слышался шумъ дождя и шелестъ вѣтокъ.

Борисъ Николаевичъ нѣсколько разъ подходилъ къ окнамъ и пристально всматривался въ сумракъ ночи, проклиная непогоду.

Ночью онъ спалъ плохо, а когда проснулся утромъ и, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ холода, вышелъ въ зало и заглянулъ въ окно—настроеніе его разомъ упало.

— Наташа, выпалъ снѣгъ!—съ горечью въ голосѣ сообщилъ онъ, разбудивъ жену.

— Ну, такъ что-же?... къ обѣду растаетъ...

— Нѣтъ, такъ досадно!... Травка начала зеленѣть и вдругъ—снѣгъ...

Недовольный женою, онъ вышелъ на террасу и осмотрѣлся.

Гладкія дорожки сада были застланы тонкой пеленой снѣга, бѣлыми пушистыми шапками насѣлъ снѣгъ на столбы изгороди, и зеленыя палицы сосенъ и елей отвисли подъ тяжестью мокраго снѣга. По небу тянулись темныя пушистыя облака, ронявшія капли дождя и тяжелыя снѣжинки.

За утреннимъ чаемъ Борисъ Николаевичъ все время нервничалъ, а когда Наталья Ивановна уѣхала въ городъ,—послалъ кухарку за водкой.

Онъ пилъ быстро, одинъ стаканчикъ за другимъ, и улыбался счастливой улыбкой ребенка, которому наконецъ-то удалось вкусить запретный напитокъ.

Послѣ четырехъ часовъ онъ стремглавъ бросился встрѣчать жену, какъ только увидѣлъ ее изъ-за изгороди сада.

— Я тебя давно поджидаю!—встрѣтилъ онъ ее, цѣлуя ея руки.

Наталья Ивановна поблѣднѣла, понявъ состояніе мужа, и ей сразу стало не по себѣ. За обѣдомъ Борисъ Николаевичъ много говорилъ, но мало ѣлъ. Раза два онъ поднимался изъ-за стола, уходилъ въ прихожую, а когда возвращался къ столу — голосъ и смѣхъ его слышались на весь домъ. Послѣ обѣда онъ пилъ водку, пилъ въ сумерки и, наконецъ, снова слегъ въ постель.

— Ты не думай, что это опять возвратилась ко мнѣ болѣзнь,—говорилъ онъ женѣ: — это такъ только, это пройдетъ...

Она слушала его и молча сидѣла у его изголовья.

— Снѣгъ, Наташа, сегодня выпалъ!.. Какая досада! Я хотѣлъ приготовить цвѣтники...

— Да, вѣдь, онъ уже почти растаялъ. Вешній снѣгъ не долго лежитъ—живо его солнышко сгонитъ...—утѣшала она мужа.

— Вешній снѣгъ, вешній снѣгъ, — повторялъ онъ.—Солнышко его скоро сгонитъ... скоро... Ты не повѣришь, Наташа, какое странное впечатлѣніе произвела на меня эта игра природы!... Я такъ былъ хорошо настроенъ, я обдумывалъ свои

записки, я хотѣлъ приниматься писать, и вдругъ— все это порвалось, все занесло вешнимъ снѣгомъ...

Онъ говорилъ и тяжело вздыхалъ, ловя руку жены и цѣлуя ея пальцы.

— А завтра взойдетъ солнышко и онъ растаетъ?—черезъ минуту спрашивалъ онъ.

— Да, да... конечно, растаетъ, милый! — утѣшала она его, цѣлуя въ губы...

Онъ крѣпко спалъ эту ночь, взявъ съ жены слово, что она не отойдетъ отъ его кровати. Ночью раза два онъ просыпался, раскрывалъ глаза и грустно улыбался женѣ, крѣпко сжимая ея руки.

А утромъ, когда онъ проснулся и подошелъ къ окнамъ, въ саду на дорожкахъ лежалъ выпавшій наканунѣ вешній снѣгъ, подъ бѣлыми шапками темнѣли столбы изгороди и, прикрытыя бѣлыми саванами, висѣли вѣтви сосенъ и елей. Дулъ рѣзкій холодный вѣтеръ. По небу двигались темныя тяжелыя облака.

Черезъ два дня Бориса Николаевича отвезли въ больницу.

ЗА ПОКОЙНИКОМЪ.

(Очеркъ).

Скучный день. Небо завѣшено тяжелыми сѣрыми тучами. Мороситъ дождь. Холодно и сыро. Сѣрыя, непривѣтливыя улицы; раздраженные, невеселые люди...

У свѣтлокоричневаго пятиэтажнаго дома на Литейной стоятъ темныя погребальныя дроги, запряженныя парой лошадей въ темныхъ попонахъ. Люди въ черныхъ длинныхъ балахонахъ и въ черныхъ же цилиндрахъ толпятся около печальной колесницы. На козлахъ, съежившись отъ холода и непогоды, сидитъ хмурый возница и угрюмо посматриваетъ на грязную и сырую мостовую. Двѣ темныя фигуры стоятъ подъ навѣсомъ подъѣзда и о чемъ-то бесѣдуютъ. Ихъ смѣющіяся лица, громкій говоръ какъ-то странно не гармонируютъ съ трауромъ ихъ одежды. Молодой бритый факельщикъ, сдвинувъ цилиндръ на затылокъ. разсказываетъ что-то своему товарищу съ рыженькой бородкой, часто припадая къ его уху и сообщая что-то, очевидно, пикантное,—и тотъ смѣется и прищелкиваетъ языкомъ.

Изъ воротъ, скрестивъ на животѣ руки, вышелъ старикъ съ желтымъ морщинистымъ лицомъ, съ большими сѣдыми усами и съ узенькими подслѣ-

поватыми глазками. Приподнявъ воротникъ балахона и сдвинувъ на лобъ цилиндръ, шелъ онъ медленно, свѣсивъ голову на грудь.

— Что, Капустинъ, носъ повѣсилъ? Вѣрно, прозябъ?—спросилъ старика факельщикъ съ рыженькой бородкой.

Старикъ поднялъ лицо, пожалъ плечами и послѣ паузы отвѣтилъ:

— А то и носъ повѣсилъ, что Сергѣя Николаича Истомина хоронить поѣдемъ!

— А каковъ таковъ этотъ Истоминъ?..

— А таковъ вотъ: штабсъ-ротмистръ въ отставкѣ. Большой баринъ былъ...

— Знавалъ ты его?

— Еще-бы! Служилъ у него когда-то въ лакеяхъ... Въ этомъ самомъ домѣ мы и жили.

Старикъ отошелъ отъ факельщиковъ, которые снова принялись смѣяться, прошелся по панели до подъѣзда слѣдующаго дома, повернулъ назадъ и, опустивъ голову, тихо прошелъ мимо товарищей, веселая бесѣда которыхъ почему-то не нравилась ему. Отойдя немного отъ подъѣзда, онъ остановился у тумбы и задумался.

— Этакое дѣло! Вотъ тутъ и узнай, кого придется хоронить,—размышлялъ онъ.

Капустинъ поднялъ голову и подошелъ къ сосѣднему подъѣзду. Онъ зналъ этотъ подъѣздъ съ тонкими чугунными колонками, поддерживавшими широкій желѣзный навѣсъ; зналъ онъ и входную дверь, съ мѣдной дощечкой какого-то врача. За дверью была площадка съ зеркальцемъ и столикомъ, а дальше шла широкая лѣстница съ рѣзными перилами. Во второмъ этажѣ по этой лѣстницѣ, налѣво, жилъ когда-то Сергѣй Николаевичъ Истоминъ.

Дверь отворилась, и на подъѣздѣ появился швейцаръ, высокій, стройный, съ бѣлобрысыми усами и съ рыжими рѣсницами узкихъ красноватыхъ глазъ. Капустинъ въ первый разъ видѣлъ рыжаго швейцара: раньше на этомъ подъѣздѣ былъ его пріятель, старикъ Ѳедорычъ, а теперь вонъ какой бравый молодецъ. Капустинъ посмотрѣлъ на швейцара и спросилъ:

— Ѳедорыча-то, вѣрно, ужъ нѣтъ?

— Какого Ѳедорыча?

— Тутъ раньше былъ швейцаромъ.

— Не знаю никакого Ѳедорыча,—холодно отвѣтилъ рыжій человѣкъ и пристально посмотрѣлъ на худощавое лицо Капустина:—я вступилъ на мѣсто Лаврентія Николаевича; теперь онъ у насъ старшимъ дворникомъ.

Швейцаръ сухо закончилъ свою рѣчь, посвисталъ и закурилъ папиросу.

— Тоже вотъ и Сергѣй-то Николаичъ раньше по этой лѣстницѣ жилъ... въ четвертомъ номерѣ, налѣво...

— Присяжный повѣренный Лукинъ живутъ теперь тамъ,—прервалъ Капустина швейцаръ.

— Не знай, кто теперь живетъ. Раньше-то, говорю, Сергѣй Николаичъ Истоминъ жилъ, а теперь вонъ гдѣ пришлось Богу душу отдать, въ 37 номерѣ, во дворѣ, на грязной лѣстницѣ...

Старикъ немного помолчалъ и, вздохнувъ, добавилъ:

— Время-то прошло! Все-то, все тутъ перемѣнилось.—Вотъ и Ѳедорычъ, мотри, тоже умеръ, да вотъ и Сергѣй-то Николаичъ...

— А ты зналъ его? Истомина-то?

— Лакеемъ у него служилъ, тутъ вотъ, въ четвертомъ номерѣ, и жили въ то время...

Къ подъѣзду подкатила пара гнѣдыхъ, запряженныхъ въ карету. Сидѣвшій въ экипажѣ полковникъ опустилъ раму и, высунувъ усатое лицо, громко спросилъ:

— А-а... послушай, швейцаръ... Квартира Истомина тутъ?

Полковникъ оттопырилъ указательный палецъ руки, затянутой въ бѣлую перчатку, и указалъ на подъѣздъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше—ство... во дворѣ, подъѣздъ направо, въ четвертомъ этажѣ, — отвѣчалъ швейцаръ, обнаживъ голову.

Полковникъ вышелъ изъ кареты и, слѣдуя за швейцаромъ, скрылся во дворѣ. Разсматривая черты лица полковника, Капустинъ припоминалъ, кто бы это могъ быть? И послѣ нѣкотораго усилія узналъ въ немъ знакомаго своего бывшаго барина, полковника Рено. «А когда-то такъ-же, какъ Сергѣй Николаичъ, штабсъ-ротмистромъ былъ! А? Вотъ оно, времячко-то!»—снова самъ съ собою разсуждалъ Капустинъ.

Швейцаръ, проводивъ полковника до квартиры Истомина, возвратился и прошелъ подъ крышу подъѣзда, гдѣ теперь бесѣдовалъ Капустинъ съ товарищами.

— А хорошій, вѣрно, баринъ-то: — четвертакъ далъ! —съ усмѣшкой повѣдалъ швейцаръ.

— Еще бы! Знаемъ мы его, полковникъ Рено... товарищъ Сергѣя Николаевича, — вставилъ Капустинъ

— А, вѣрно, баринъ — какъ стать, былъ этотъ Истоминъ-то? — спрашивалъ швейцаръ, внимательно разсматривая Капустина.

— Второй-то этажъ весь занималъ, на двѣ квартиры жилъ: въ одной онъ, а въ другой-то

жила одна полька, Бронислава Викентьевна, пѣвица она,—разсказывалъ старикъ.

— А-а, вотъ ты и смотри! Теперь-то вонъ гдѣ живетъ: въ четвертомъ, во дворѣ! — удивлялся швейцаръ.

— Теперь, братъ, мы его на новое жительство повеземъ!—вставилъ рыжебородый факельщикъ и усмѣхнулся.

Шутки его, однако, никто изъ бесѣдовавшихъ не поддержалъ.

— Какъ же это такъ вышло-то? —любопытствовалъ швейцаръ.

— Что?

— Да что онъ раньше-то такъ жилъ, а теперь у Надежды Ивановны... портниха она.

И швейцаръ разсказалъ слушателямъ, что Истоминъ жилъ у портнихи Надежды Ивановны, намекая на интимныя отношенія жильца и квартирной хозяйки. Говорилъ онъ также и о томъ, что Сергѣй Николаевичъ эксплоатировалъ бѣдную труженицу, когда запивалъ, а послѣдній годъ, лишившись мѣста, окончательно уже жилъ на ея счетъ.

— Ужъ и не знаю, какъ! Лѣтъ десять или больше ничего не слыхалъ я о баринѣ Сергѣѣ Николаичѣ. Какъ только тогда меня разсчитали, такъ и уѣхали въ провинцію... Когда богатъ-то былъ, такъ у всѣхъ на виду, а вотъ обѣднѣлъ, отощалъ— и съ глазъ долой...

Къ дому подъѣхалъ рысакъ. Рыжебородый кучеръ осадилъ лошадь, и когда она разомъ остановилась, какъ вкопанная, съ пролетки соскочилъ сѣдой господинъ, съ приподнятымъ воротникомъ пальто и въ цилиндрѣ съ трауромъ. Сидѣвшая съ нимъ рядомъ дама ниже опустила надъ собою зонтикъ и что-то проговорила, обращаясь къ спутнику, который въ это время разспрашивалъ под-

скочившаго швейцара о квартирѣ Истомина. Швейцаръ предупредительно провелъ вновь прибывшихъ во дворъ.

— А это, вѣрно, все къ покойнику?—спросилъ кто-то изъ факельщиковъ.

— Къ нему.

— Вотъ ты и смотри—на какихъ рысакахъ, а онъ въ четвертомъ этажѣ!—слышалось замѣчаніе.

— Пойти посмотрѣть,—вставилъ коротко и рыжебородый факельщикъ, направляясь вслѣдъ за швейцаромъ и прибывшей парочкой.

Когда потомъ факельщики, швейцаръ и Капустинъ сгруппировались подъ навѣсомъ подъѣзда, между ними завязалась довольно оживленная бесѣда. Больше другихъ любопытствовалъ швейцаръ, который до сего дня не предполагалъ, что въ № 37 по задней лѣстницѣ жилъ такой важный прежде баринъ. Онъ зналъ этого жильца, высокаго, стройнаго господина, всегда прилично одѣтаго, но не особенно замѣтнаго среди другихъ жильцовъ дома. Помнилъ онъ и его длинные сѣдоватые усы, темные глаза, густыя брови и большой носъ, помнилъ и постоянную привычку его держать во рту длинный янтарный мундштукъ съ вставленной въ него толстой папиросой. Зналъ онъ также, что жилецъ этотъ живетъ со своей квартирной хозяйкой, портнихой Надеждой Ивановной Суховой, какъ мужъ съ женою. Фактъ этотъ, впрочемъ, не былъ тайной почти ни отъ кого изъ жильцовъ большого дома.

— Такъ вотъ оно что! прервалъ молчаніе швейцаръ: у господина-то этого ты раньше въ лакеяхъ былъ? Холостъ онъ былъ тогда, или какъ?

— Жена-то у него умерла... давно, отъ чахотки скончалась.

У Надежды Ивановны онъ лѣтъ пять живетъ. Служилъ онъ гдѣ-то. Ну, да только и выпить не дуракъ былъ. Бывало, получитъ жалованье, и Надеждѣ Ивановнѣ за комнату заплатитъ, а дальше-то... такъ... она и кормила... Въ трезвомъ-то видѣ хорошій былъ баринъ, а вотъ какъ загуляетъ—то и бѣда: ту же Надежду Ивановну тиранитъ. Она всячески за нимъ ухаживаетъ, а онъ ее же терзаетъ. Полюбился, вѣрно, ей очень!

Швейцаръ съ сарказмомъ закончилъ свой обличительный монологъ и закурилъ потухшій окурокъ папиросы.

Изъ этого разсказа швейцара Капустинъ узналъ, какова была жизнь его бывшаго барина незадолго до смерти. Жилъ онъ съ портнихой Надеждой Ивановной, иногда помогалъ ей деньгами, чаще же жилъ на ея счетъ и ее же тиранилъ. Но за все это старикъ не осуждалъ покойника.

Полчаса спустя на погребальныхъ дрогахъ стоялъ глазетовый гробъ съ останками покойнаго Истомина. Факельщики засвѣтили свои фонари и приготовились къ процессіи. Изъ двора за гробомъ вышли полковникъ, кавалеръ въ цилиндрѣ и съ приподнятымъ воротникомъ пальто и дама подъ траурной вуалью. Впереди всѣхъ, у самаго гроба, шла низенькая, полная женщина, вся въ черномъ. Капустинъ посмотрѣлъ на нее и подумалъ, что, вѣрно, это и есть та самая портниха, о которой разсказывалъ швейцаръ.

Процессія двинулась медленно и торжественно, ничѣмъ, впрочемъ, не нарушая обычнаго уличнаго движенія и не особенно останавливая вниманіе прохожихъ. По улицамъ сновали экипажи, громыхали и звонили конки, шли пѣшеходы, прибавляя шагу. Холодный, пронизывающій осенній дождь

словно застылъ въ воздухѣ и падалъ теперь съ темнаго неба бѣлыми мокрыми снѣжинками. Когда Капустинъ вновь оглянулся, за гробомъ тащилась только одна извозчичья пролетка съ приподнятымъ верхомъ; изъ-за спины извозчика виднѣлась темная, одинокая фигура Надежды Ивановны. Карета полковника и коляска съ дамой и кавалеромъ въ цилиндрѣ перегнали процессію и затерялись среди экипажей, сновавшихъ по улицѣ...

Медленно шагая за гробомъ, Капустинъ думалъ о покойникѣ. Лѣтъ двадцать назадъ впервые узналъ онъ Сергѣя Николаевича Истомина. Служилъ Капустинъ тогда въ ресторанѣ Палкина офиціантомъ. Какъ-то разъ, вечеромъ, пришли въ общій залъ два офицера: одинъ низенькій и толстенькій, съ хорошо выбритымъ подбородкомъ, выхоленными усиками и въ пенснэ на носу, другой — высокій и стройный брюнетъ, съ большимъ лбомъ, курчавыми волосами и красиво завитыми тоненькими усиками.

За ужиномъ господа пили хорошія вина и все время о чемъ-то разговаривали. Высокій брюнетъ говорилъ горячо и жестикулировалъ, глаза его горѣли, лицо то блѣднѣло, то краснѣло; товарищъ его былъ покоенъ, сдержанъ и, отвѣчая тихимъ голосомъ, какъ будто не старался скрыть на лицѣ своемъ какой-то особенной, непріятной усмѣшки. При расчетѣ высокій офицеръ далъ Капустину рублевую бумажку на чай и, заглянувъ въ его лицо, замѣтилъ:

— Вотъ это тебѣ, старина!.. Что-то, братъ, у тебя печально въ глазахъ?—неожиданно спросилъ офицеръ, щелкнулъ шпорами и пошелъ вслѣдъ за товарищемъ.

Съ этихъ поръ Капустинъ сталъ замѣчать высокаго офицера въ разнохарактерной толпѣ посѣ-

тителей ресторана и нерѣдко услуживалъ ему, и скоро узналъ имя, отчество и фамилію «хорошаго барина».

Истоминъ нерѣдко заходилъ въ компаніи статскихъ и военныхъ, или сопровождалъ расфранченныхъ дамъ,—и рѣдко бывалъ одинъ. Когда же заходилъ онъ одиноко, на лицѣ барина слуга читалъ какое-то грустное выраженіе. Садился онъ, обыкновенно, за столомъ въ углу, у колонны, заказывалъ себѣ ужинъ или завтракъ, просилъ подать вина и газету. Газеты онъ, впрочемъ, часто не читалъ и, принявъ наблюдательную позу, курилъ дорогую сигару и вдумчивыми глазами разсматривалъ происходившее вокругъ. Движеніемъ тонкой выхоленной руки подзоветъ онъ, бывало, Капустина, прикажетъ подать что-нибудь, а когда старикъ исполнитъ приказаніе—вѣжливо поблагодаритъ его; при расчетѣ Истоминъ никогда не провѣритъ поданнаго счета и всегда щедро дастъ на чай. Все это нравилось Капустину, и Истоминъ былъ для него любимымъ посѣтителемъ ресторана.

Какъ-то разъ, поздно ночью, за часъ до закрытія ресторана, Истоминъ, расплатившись по счету, поданному Капустинымъ, и вынувъ трехрублевую бумажку, обратился къ старику со слѣдующими словами:

— Вотъ что, Капустинъ, какъ только завтра утромъ встанешь,—возьми это письмо и снеси по адресу... на Сергіевскую.

Офицеръ передалъ Капустину небольшой конвертъ съ надписаннымъ адресомъ и добавилъ:

— Съ посыльнымъ не посылаю... Надѣюсь, Капустинъ, ты доставишь во время?

— Слушаю-съ!—отвѣчалъ слуга.

На другой день, часовъ въ десять утра, Капустинъ пошелъ на Сергіевскую. Здѣсь, на парадной

лѣстницѣ красиваго дома,отыскалъ онъ квартиру, которая значилась на конвертѣ, и вручилъ письмо сѣдому лакею, отворившему передъ нимъ дверь. Черезъ нѣсколько дней Капустинъ услышалъ, что офицеръ Истоминъ стрѣлялся, тяжело ранилъ себя въ грудь, и только черезъ мѣсяцъ послѣ этого выздоровѣлъ, уѣхалъ въ Крымъ и скоро вышелъ въ отставку.

Прошло года два. Какъ-то разъ Капустинъ узналъ въ одномъ изъ посѣтителей ресторана Истомина. Бывшій гвардеецъ былъ теперъ въ штатскомъ; на немъ былъ длинный, красиво сшитый сюртукъ, бѣлоснѣжные воротнички, и большая булавка переливалась разноцвѣтными огнями на темномъ галстухѣ. Лицо Истомина также измѣнилось, чему способствовали длинные волосы съ косымъ проборомъ и курчавая бородка. Штатскій баринъ скоро узналъ своего прежняго любимца-офиціанта, а Капустинъ радъ былъ и тому, что снова служитъ «хорошему барину», радовался и тому, что шальная пуля не погубила его. Какъ-то разъ Истоминъ даже разговорился съ Капустинымъ.

— Постарѣлъ ты, Капустинъ, за эти годы. Да вотъ и я тоже—въ отставкѣ, бороду отпустилъ... Ну, и прочее...

Старикъ слушалъ барина и вспоминалъ случай, когда носилъ на Сергіевскую письмо, содержаніе котораго оказалось такимъ роковымъ...

Лошади дотащили гробъ съ прахомъ Истомина до Невскаго. Капустинъ поднялъ голову, посмотрѣлъ на подъѣздъ знакомаго ресторана и подумалъ:

— Да, вотъ оно что! Когда-то мы тутъ съ Сергѣемъ Николаичемъ были, служилъ я ему, а теперь... вонъ, какъ приходится служить: прово-

жаю его, батюшку моего, до послѣдняго пристанища.

Капустинъ немного замедлилъ шагъ и, поровнявшись съ изголовьемъ гроба, посмотрѣлъ на свѣтлую, помятую и полинялую, прикрывавшую гробъ парчу, пропитанную дождевой водой,—и еще тяжелѣе стало у него на душѣ. Отъ этого дешеваго гроба, прикрытаго ветхой парчей, отъ недорогого вѣнка, прилѣпившагося на крышкѣ, отъ этихъ мрачныхъ дрогъ, усталыхъ лошадей и недовольныхъ погодою факельщиковъ, провожавшихъ покойника—вѣяло чѣмъ-то томительнымъ и скучнымъ. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ не мало покойниковъ проводилъ Капустинъ, но такого, кажется, дешеваго и скромнаго еще никогда не провожалъ. За траурными дрогами тащилась только одна извозчичья кляченка, покойника провожала только одна Надежда Ивановна. Но развѣ Капустинъ не помнитъ, какое большое общество собиралось когда-то въ домѣ Истомина? Сѣдовласый старикъ лакей, которому Капустинъ передалъ письмо, потомъ не разъ разсказывалъ о жизни Сергѣя Николаевича.

Послѣ неудавшагося покушенія на собственную жизнь, Сергѣй Николаевичъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ провинцію. Жена его открыто жила въ это время съ тѣмъ самымъ франтоватымъ низенькимъ графомъ, съ которымъ не разъ бывалъ въ ресторанѣ Палкина и самъ Истоминъ. Въ провинціи Сергѣй Николаевичъ окончательно оправился и отдохнулъ отъ всѣхъ треволненій и потомъ снова появился въ Петербургѣ. Черезъ годъ послѣ этого Капустинъ перешелъ къ нему на службу въ качествѣ лакея. Какъ-то само собою это вышло. Пришелъ однажды Истоминъ въ ресторанъ, а старикъ Капустинъ подавалъ ему обѣдъ.

— Вотъ что, Капустинъ, — сказалъ Истоминъ послѣ того, какъ слуга принесъ ему третье блюдо; — человѣкъ ты старый, знаю я тебя нѣсколько лѣтъ. Не пойдешь ли ты служить ко мнѣ? Дѣла у меня немного, жалованье тебѣ дамъ хорошее...

Недолго думая, Капустинъ согласился.

Жилъ въ это время Истоминъ въ той самой квартирѣ № 4, о которой Капустинъ разсказывалъ усатому швейцару. Вмѣстѣ съ нимъ жила въ это время Бронислава Викентьевна, пѣвица. На новомъ мѣстѣ старику жилось хорошо, хотя дѣла было много, потому что домъ Истомина всегда былъ открытъ для многочисленныхъ друзей хозяина и хозяйки. Капустину нравилось жить у Истомина; доволенъ онъ былъ и Брониславой Викентьевной, относясь къ ней, какъ къ настоящей барынѣ. Иногда ему приходилось даже изъ-за нея воевать съ горничными, которыя за глаза называли сожительницу его барина «шлюхой». Капустинъ видѣлъ, что баринъ съ барыней живутъ въ мирѣ и согласіи, и радовался этому. Нежданно-негаданно случилась, однако, бѣда,—и многое въ жизни Истомина и Брониславы Викентьевны измѣнилось.

Частымъ гостемъ въ домѣ Истомина бывалъ одинъ молодой уланъ, по фамиліи Загада. Капустинъ не любилъ этого безусаго щеголя, не любилъ за его надменный и гордый видъ и за грубое обращеніе съ нимъ, старикомъ. Загада больше всѣхъ мужчинъ ухаживалъ за Брониславой Викентьевной. Это замѣчали всѣ знакомые Истомина. Видѣлъ это, конечно, и самъ Сергѣй Николаевичъ.

Произошло что-то странное между Истоминымъ и Загадой, случайными свидѣтелями чего были Капустинъ и гости. Загада сидѣлъ за роялемъ и тихо наигрывалъ какой-то печальный мотивъ, а Бронислава Викентьевна стояла около него и пѣла.

Въ комнатѣ сидѣли гости и, затаивъ дыханіе, слушали пѣніе хозяйки. Вдругъ почему-то Сергѣй Николаевичъ поблѣднѣлъ, быстро подошелъ къ Загадѣ и взялъ его за руки, пальцы которыхъ искусно бѣгали по клавишамъ. Рояль смолкъ. Молодой человѣкъ поднялся со стула и поблѣднѣлъ. Въ недоумѣніи отшатнулась отъ Истомина и Бронислава Викентьевна.

— Я вамъ покажу, Загада, кто вы! Я вамъ покажу!—закричалъ Истоминъ.

— Что? Что это значитъ, милостивый государь?—спрашивалъ тотъ, трясясь и краснѣя отъ бѣшенства.

Возбужденный, съ злобно сверкающими глазами, Истоминъ бормоталъ что-то и метался по комнатѣ. Смущенные гости старались успокоить поссорившихся, но бѣшенаго улана не такъ-то легко было унять. Размахивая руками и стоя посреди зала, онъ кричалъ:

— Вы много о себѣ думаете!.. вы—содержанка графа!.. вы, продавшій свою жену и на эти деньги принимающій насъ!..

— Убирайся вонъ, щенокъ!—крикнулъ Истоминъ и бросился за удалявшимся Загадой. Поднялся шумъ. Сергѣй Николаевичъ набросился съ упреками на Брониславу Викентьевну. Возмущенная поведеніемъ Истомина, полька ушла къ себѣ, не простившись съ гостями и отклонивъ желаніе Сергѣя Николаевича объясниться.

— Гнусный человѣкъ!.. Продавецъ женъ!..—крикнулъ Загада изъ прихожей, уже одѣвшись.

Сергѣй Николаевичъ схватилъ попавшійся подъ руку стулъ и бросился за уланомъ, но его удержали гости, стараясь успокоить. Когда смущенные происшедшимъ гости разъѣхались, Сергѣй Николаевичъ постучался въ комнату Брониславы Ви-

кентьевны, но вмѣсто нея нашелъ только письмо. Долго послѣ этого онъ ходилъ по залу, о чемъ-то раздумывая. Наконецъ, ушелъ къ себѣ и позвалъ слугу. Капустинъ вошелъ въ полутемную спальную и не сразу узналъ барина: такимъ измѣнившимся показался онъ ему. Лицо Сергѣя Николаевича осунулось, по щекамъ бродили краснобагровыя пятна, въ глазахъ сосредоточилось какое-то мрачное выраженіе. Тронутый положеніемъ барина, старикъ не утерпѣлъ и тихо промолвилъ:

— Успокойтесь, баринъ, Сергѣй Николаичъ! успокойтесь!

— Молчать!—вдругъ крикнулъ Истоминъ и съ такой силой ударилъ старика въ грудь, что тотъ отлетѣлъ къ стѣнѣ и ударился спиною объ уголъ трюмо.

— Молчать! Не твое дѣло! холопъ! — неистово кричалъ баринъ, наступая на слугу.

Капустинъ молчалъ и растерянно посматривалъ въ уголъ комнаты: въ душѣ его таилась еще никогда не испытанная имъ обида, на глаза навертывались слезы. Съ этой затаенной обидой уснулъ въ эту ночь старикъ, давъ себѣ слово завтра-же попросить расчета у барина и уйти на другое мѣсто.

Рано утромъ, однако, старикъ измѣнилъ свое рѣшеніе. Заслыша звонокъ изъ спальной, онъ нехотя пошелъ по корридору, ступая по мягкой пеньковой дорожкѣ, и, остановившись у двери въ спальную, перевелъ духъ. Ему не хотѣлось входить къ барину, нанесшему ему обиду, и онъ инстинктивно удерживался раскрыть дверь.

— Подойди ближе, Капустинъ,—началъ баринъ, когда слуга появился въ спальной: — подойди ближе!—повторилъ онъ еще разъ и тихо добавилъ:—прости меня, вчера я обидѣлъ тебя...

Капустинъ поднялъ глаза и встрѣтился съ печальнымъ взоромъ барина.

— Обозлили меня всѣ эти люди — вотъ и сорвалъ обиду на тебѣ, ни въ чемъ неповинномъ человѣкѣ! Прости меня, старикъ, я очень виноватъ передъ тобою...

Капустинъ едва сдерживалъ слезы. Въ эту минуту въ его душѣ обида на барина смѣнилась какимъ-то хорошимъ, жалостливымъ чувствомъ. Сергѣй Николаевичъ отвернулся къ стѣнѣ, глубоко вздохнулъ и еще разъ повторилъ:

— Прости и не суди меня...

И снова, при этомъ воспоминаніи, Капустину стало жаль своего покойнаго барина. Не разъ за всю свою безпокойную жизнь, въ качествѣ лакея и официанта, Капустину приходилось унижаться, слушая грубые и пошлые окрики захмѣлевшихъ господъ, и никогда никто изъ посѣтителей ресторана, никто изъ господъ, наносившихъ ему обиды, не одумывался, не подзывалъ старика и не просилъ прощенія. А тутъ вдругъ самъ баринъ подзываетъ его и извиняется.

И долго потомъ, при различныхъ обстоятельствахъ жизни, Капустинъ раздумывалъ на эту тему. Близко живя около Истомина, онъ прекрасно зналъ дурныя и хорошія стороны его характера; зналъ подробно исторію побѣга первой жены, покушеніе на самоубійство и послѣдующую затѣмъ жизнь. Загада былъ правъ, упрекая Истомина въ томъ, что онъ, уступивъ жену свою графу, получалъ отъ него ежегодно большую сумму денегъ въ видѣ отступного. Капустинъ осуждалъ за это барина, находя, что жить такъ грѣшно, противно Богу. Старикъ находилъ также, что противна Богу и эта праздная, разгульная жизнь, какую вели

Истоминъ и Бронислава Викентьевна, и ихъ незаконное сожительство.

И этотъ грѣшный человѣкъ вдругъ отнесся къ нему, къ «холопу», съ просьбой простить его! Капустинъ прощалъ Сергѣю Николаевичу всѣ его недостатки за эту маленькую долю хорошаго въ его сердцѣ.

Помнится, какъ-то вечеромъ къ Сергѣю Николаевичу пріѣхала дама. Темное, красиво сшитое платье обрисовывало ея тонкую талью, черная вуаль прикрывала овалъ красиваго, но блѣднаго и худого личика. Даму эту Истоминъ принялъ съ глазу на глазъ, въ кабинетѣ. Какъ потомъ оказалось, это была его жена, Варвара Александровна. Скоро Капустинъ узналъ, что она разошлась съ графомъ и переѣхала къ мужу. Съ первыхъ же дней переѣзда Варвары Александровны къ Истомину въ ихъ домѣ появились доктора, такъ какъ молодая женщина возвратилась къ мужу въ послѣднемъ градусѣ чахотки. Недѣли чрезъ три она умерла, а Сергѣю Николаевичу пришлось уѣхать въ провинцію, такъ какъ со смертью жены его средства къ жизни изсякли. Съ тѣхъ поръ Капустинъ не видѣлъ Сергѣя Николаевича и ничего не слышалъ о немъ. Узналъ онъ только о его смерти, когда по грязной лѣстницѣ поднялся на четвертый этажъ, гдѣ умеръ Истоминъ, занимая комнатку у портнихи Надежды Ивановны.

Пока Капустинъ раздумывалъ о покойникѣ и о его прошломъ, процессія съ останками Истомина миновала рядъ улицъ и переулковъ и добралась до грязнаго и мутнаго канала, черезъ который былъ переброшенъ деревянный мостъ съ рельсами конки. Капустинъ очнулся отъ своихъ воспоминаній и осмотрѣлся. Путь къ Волкову

кладбищу былъ хорошо ему извѣстенъ: за время своей службы факельщикомъ не одинъ десятокъ, даже не одну сотню покойниковъ проводилъ онъ къ мѣсту послѣдняго упокоенія. Съ первыхъ дней новой работы долго не могъ привыкнуть старикъ къ своимъ нетруднымъ обязанностямъ. Смущалъ его этотъ неуклюжій черный балахонъ, траурный цилиндръ тѣснилъ голову, какимъ-то страннымъ казалось и самое шествіе съ фонаремъ въ рукахъ и вся эта невеселая обстановка. Но къ чему не привыкаетъ человѣкъ? Скоро Капустину все это стало казаться обыкновеннымъ. Сначала видъ похоронъ, а главное, страданія людей, оставшихся въ живыхъ и провожавшихъ покойника,—трогали душу старика, но потомъ онъ и къ этому привыкъ, протягивая руку, какъ и другіе товарищи, за деньгами «на поминовеніе души». Больше всего стало заботить его только одно,—чтобы день былъ не холоденъ и не пасмуренъ, когда придется сопровождать покойника.

И только теперь, шествуя за останками Истомина, ему представилось, что онъ хоронитъ какого-то дорогого и близкаго ему человѣка. Грудь его все время сдавливали тяжелыя незримыя слезы. Вблизи кладбища Капустинъ оглянулся и еще больше опечалился.

Посреди мостовой, по узкой пустынной улицѣ, слегка вздрагивая на неровностяхъ, двигался катафалкъ, а за нимъ слѣдомъ ѣхалъ извозчикъ съ неподвижно сидѣвшей и закутавшейся отъ непогоды дамой. «Только одна она, матушка, провожаетъ, а всѣ тѣ, господа-то, улизнули... Такъ только—пріѣхали для виду, что, молъ, не забыли друга»,—подумалъ Капустинъ.

По узкимъ дорожкамъ, занесеннымъ недавно выпавшимъ мокрымъ снѣгомъ, гробъ пронесли куда-

то въ дальній уголъ кладбища и опустили возлѣ свѣже-вырытой могилы...

Гробъ зарыли... Надежда Ивановна стояла, прислонившись къ березкѣ, и горько плакала. Къ ней лѣзли товарищи Капустина, протягивая руки за обычнымъ подаяніемъ на «поминовеніе души», а онъ стоялъ вдали и разсѣянно посматривалъ по сторонамъ.

Капустинъ подошелъ къ Надеждѣ Ивановнѣ и, остановившись около нея, тихо проговорилъ:

— Успокойтесь, сударыня Надежда Ивановна, успокойтесь... Это я тутъ... Раньше-то я у Сергѣя Николаевича въ лакеяхъ былъ... Довелось вотъ и мнѣ проводить бѣднаго барина до послѣдняго пристанища... Упокой, Господи, душу его въ лонѣ Авраама и Іакова!..

И Капустинъ принялся креститься и кланяться въ сторону свѣжей могилы. Плача, молилась и Надежда Ивановна. Она довѣрчиво придвинулась къ Капустину и, безпомощная и убитая, опустила голову на его грудь, будто это былъ ея близкій человѣкъ, около котораго можно отдохнуть душой отъ житейскихъ печалей и страданій.

По блѣднымъ щекамъ Надежды Ивановны катились горячія слезы, а рядомъ съ нею стоялъ и рыдалъ Капустинъ...

Бѣдные, одинокіе люди! Такъ горько и неутѣшно рыдая, они оплакивали того, кому нѣкогда служили и душою и тѣломъ.

ВЪ РАБОЧЕМЪ КВАРТАЛѢ.

(Изъ впечатлѣній счетчика послѣдней переписи).

1. Полчеловѣка.

Наступали сумерки... Съ трудомъ отворивъ тяжелую одностворчатую дверь, я перешагнулъ порогъ и очутился въ крошечной комнаткѣ. Направо въ стѣнѣ блѣднымъ пятномъ обрисовывалось оконце: молочный свѣтъ сумерокъ падалъ на убогую обстановку жилища. Подъ плитою перегорали обуглившіяся полѣнья, по неровному, скрипучему полу тянулась блѣдная полоса свѣта...

— Кто тамъ?..—окликнулъ меня кто-то изъ-за досчатой перегородки. Я не сильно толкнулъ узкую дверцу, она отворилась, скрипнувъ,—и я вошелъ въ сосѣднюю комнату.

Небольшая жестяная лампочка тусклымъ свѣтомъ озаряла грязно-сѣрыя обои стѣнъ, темныя закоптѣвшія окна, столъ съ чайной посудой и потухшимъ самоваромъ, стулья, небольшой красненькій сундучекъ. Направо, на постели, лежалъ темноволосый человѣкъ, съ широкимъ блѣднымъ лицомъ и съ большими темными глазами. Человѣкъ этотъ пристально посмотрѣлъ на меня, слегка повернувъ лицо, и твердо и отчетливо спросилъ:

— Вамъ что угодно-то?..

Я сказалъ о цѣли своего посѣщенія, напомнивъ негостепріимному собесѣднику о пакетѣ съ листочками, которые были мною оставлены здѣсь вчера, и которые надо было заполнить краткими отвѣтами на краткіе вопросы.

— Кто вамъ будетъ писать-то?—не то спросилъ, не то съ сердцемъ въ голосѣ замѣтилъ черноволосый человѣкъ и сверкнулъ яблоками широко раскрытыхъ глазъ:—я—неписьменный, сынъ мой хотя и маракуетъ немного на счетъ грамоты, да гдѣ ему!—встанетъ, пойдетъ на заводъ, вернется въ полдень, пообѣдаетъ и опять... вечеромъ тоже рабочему человѣку и отдохнуть надо....

Мой собесѣдникъ, не поднимаясь съ кровати и кутаясь въ одѣяло, говорилъ удивительно покойнымъ тономъ, хотя глаза его по прежнему пристально и сурово смотрѣли на меня.

— Я самъ запишу, если вамъ некогда, — замѣтилъ я.

— Запишите, — покойно отвѣтилъ онъ: —вонъ, садитесь къ столу и пишите,—добавилъ онъ, мотнулъ головою по направленію стола, повернулъ лицо кверху и уставился въ потолокъ полузакрытыми глазами.

Я досталъ съ окна пакетъ, разложилъ на столѣ листочки, вынулъ чернильницу и перо—и приготовился писать.

— Кто же здѣсь хозяинъ квартиры?..

— Хозяинъ на заводѣ, сынъ мой...

— А вы кто же, жилецъ?..

— Я — отецъ его... живу у сына, а какъ тамъ по-вашему—не знаю... жилецъ ли, или еще какъ!..

— Хорошо, я начну съ васъ, — сказалъ я и спросилъ имя и фамилію моего собесѣдника. Онъ сказалъ. Я спросилъ о его лѣтахъ и получилъ новый отвѣтъ только послѣ небольшой паузы: моя,

неподвижно лежавшая, статистическая единица не сразу сообразила, сколько лѣтъ пребываетъ она этимъ простымъ знакомъ... Далѣе слѣдовали одинъ за другимъ вопросы и отвѣты.

— Не болѣете ли вы глазами?—наконецъ спросилъ я и посмотрѣлъ въ глаза темноволосаго человѣка: ясный, острый взглядъ показалъ мнѣ, какъ нелѣпъ былъ мой вопросъ.

— Васъ вотъ отсюда до волосика вижу, а чтобы подойти къ вамъ... вотъ на этомъ уже не взыщите съ меня... Безногій я,—отвѣчалъ онъ.

Я посмотрѣлъ на одѣяло и пальто, которыми были прикрыты мнимыя ноги лежавшаго человѣка, а онъ громко вздохнулъ, уставился на меня блестящими зрачками и тихо спросилъ:

— И зачѣмъ вы меня, господинъ, записываете?.. Вотъ тоже... сколько-то лѣтъ тому назадъ... тоже перепись была... Приходитъ вотъ также человѣкъ, спрашиваетъ, записываетъ, а что, толкъ-то изъ этого вышелъ? Что я, поздоровѣлъ, что ли? Ноги, что ли, другія мнѣ наставили?

Онъ слегка поднялъ съ подушки голову и вытаращилъ на меня свои глаза, съ нѣмымъ и дерзкимъ запросомъ.

— Тоже спрашивали, записывали... бумагу-то марали, — съ насмѣшкой въ голосѣ продолжалъ онъ и послѣ короткой паузы тихо добавилъ:—Умереть бы мнѣ только по-христіански, душу-то свою искупить отъ грѣховъ... тѣла-то вотъ не уберегъ...

Я молчалъ, посматривая на блѣдное взволнованное лицо человѣка, и ждалъ, когда онъ кончитъ свою длинную рѣчь...

— Въ половину человѣка меня запишите, — снова началъ онъ, повысивъ голосъ:—Такъ и обозначьте, молъ, «полчеловѣка»... потому—ноги-то у меня до колѣнъ отрѣзаны, ходить не могу...

Собесѣдникъ мой сбросилъ съ себя одѣяло и пальтишко и обнажилъ свои, окороченныя до колѣнъ, ноги. Это были толстые, неуклюжіе обрубки, завернутые въ тряпье... Я отвернулся. Взглядъ мой упалъ на блѣдножелтый листокъ бумаги съ пропечатанными на немъ вопросами, но вопросовъ этихъ мнѣ не хотѣлось задавать: дальше слѣдовали вопросы о занятіяхъ...

— Ну, чего ради записывать-то вы меня пришли? А? человѣкъ добрый!.. Вотъ, если какой еще новый налогъ будетъ—такъ припишите, молъ, съ Ивана Тимофеева половину слѣдуетъ... значитъ, какъ бы за половину человѣка... Прибавьте еще... молъ, на пособіе живу: пять рублей въ мѣсяцъ получаю...

«Полчеловѣкъ» прикрылъ одѣяломъ обрубленныя ноги, заложилъ за голову руки и снова уставился на меня пристальными темными глазами. Тихимъ, незлобнымъ голосомъ разсказалъ онъ мнѣ исторію своего несчастія. Это было лѣтъ десять тому назадъ. Работалъ онъ за «Невской», былъ литейщикомъ. И вотъ какъ-то однажды онъ и еще нѣсколько рабочихъ несли небольшую желѣзную шайку, переполненную расплавленнымъ металломъ... Кто-то изъ рабочихъ оступился, шайка накренилась, а всплеснувшаяся жидкость лизнула по ногамъ впереди шедшихъ... Двое умерли, а онъ остался живъ... Человѣкъ этотъ,—по его разсказу, нѣкогда здоровый, работящій и смѣлый литейщикъ — теперь несчастный «полчеловѣкъ», со скорбію вспоминающій свое прошлое, озлобленный на настоящее и проклинающій смерть—зачѣмъ она оставила жить эту, никому ненужную, половину человѣка!..

Я всталъ, простился съ нимъ и направился къ двери.

— Прощайте!—произнесъ онъ и проводилъ меня до двери покойнымъ, холоднымъ взоромъ...

Возвращаясь домой усталымъ, послѣ дневной бѣготни съ лѣстницы на лѣстницу, изъ квартиры въ квартиру, и сидя въ конкѣ, я думалъ о «полчеловѣкѣ», объ этой половинѣ единицы, занесенной мною на клочекъ бумаги... Этотъ живой «полчеловѣкъ» казался мнѣ олицетворяющимъ всю половинчатость жизни обитателей рабочаго квартала. Квартиры ихъ заброшены за черту города, комнатки тѣсны и грязны, обезпеченіе скудно, потребности сужены, день раздѣленъ на двѣ половины труда — «ночную» и «дневную», — все «въ половину», все ограничено, все сжато въ узкія рамки жизни...

---

2. Три поколѣнія.

Послѣ семи часовъ вечера, когда возвращается съ завода дневная смѣна, мнѣ надо было побывать въ одной квартирѣ. Въ небольшой и тѣсной кухнѣ, куда вошелъ я, было темно и тихо. Въ щель неплотно притворенной двери въ сосѣднюю комнату падала узкая полоска свѣта. За перегородкой направо слышался плачъ ребенка, и тихая и нѣжная колыбельная пѣсня нарушала тишину комнатъ. Изъ-за полога, отдѣлявшаго кровать отъ остальной части кухни, появилась низенькая женщина. Поправляя на головѣ растрепавшіеся волосы, она двинулась къ полуоткрытой двери, говоря:

— Сюда вотъ проходите!—Она широко распахнула дверь и, посторонившись, пропустила меня въ сосѣднюю комнату.

У стола, въ простѣнкѣ между оконъ, гдѣ висѣло небольшое зеркальце, сидѣлъ рыжеватый

человѣкъ, въ фуфайкѣ на широкихъ плечахъ, съ темными закоптѣвшими руками и съ смуглымъ отъ копоти лицомъ. Онъ ужиналъ, очевидно, только-что вернувшись съ завода. На кровати сидѣла низенькая, сгорбленная женщина, съ морщинистымъ желтымъ лицомъ и съ добрыми свѣтло-голубыми глазами. Я видѣлъ еще наканунѣ эту старушку, и теперь, увидя меня, она догадалась, зачѣмъ я пришелъ, и, приподнявшись, проговорила:

— Вотъ и застали... Гриша, тебя поджидали вчера! —сильно повысивъ голосъ, обратилась она къ сыну. Тотъ молча посмотрѣлъ на меня, опустилъ на скатерть ложку, утеръ ладонью усы и приподнялся. Я просилъ его продолжать ужинать, ссылаясь на желаніе отдохнуть, и выкурилъ папиросу.

— Что?.. Не слышу я! погромче говорите! — началъ онъ. На этотъ разъ и я повысилъ голосъ и еще разъ повторилъ свою просьбу и желаніе. Рабочій опустился на стулъ, продолжая прерванный ужинъ.

— Устали, что говорить: все на ногахъ,—вставила старушка и вышла; немного спустя, она внесла чашку съ жаренымъ картофелемъ и поставила ее передъ сыномъ.

— Оглохъ онъ совсѣмъ! — начала старушка, усаживаясь на прежнее мѣсто на кровать; она посмотрѣла на сына сощуренными глазами и вздохнула.

— Просто бѣда у насъ тамъ! Выйдешь изъ завода и такъ... словно ошалѣлый какой, — замѣтилъ и сынъ старушки:—я рессорщикъ... грохотъ у насъ такой, что не приведи Богъ—бѣда!..

Я понялъ, конечно, какого цеха человѣкъ сидѣлъ передо мною. Вдругъ всплыло въ памяти моей имя рано умершаго, скорбнаго Гаршина и

«Глухарь», описанный имъ. Когда-то, въ юности, подъ вліяніемъ разсказа, мнѣ страшно хотѣлось увидѣть человѣка, окрещеннаго этимъ крылатымъ словомъ,—и вотъ теперь этотъ «Глухарь» передо мною—и я внимательно осмотрѣлъ худощавое и утомленное лицо Гриши, который съ неутоленнымъ еще аппетитомъ кончалъ свой ужинъ.

— Вотъ и отецъ-то тоже... съ этимъ и въ могилу сошелъ,—тихо, ни къ кому не обращаясь, замѣтила старушка и опять глубоко вздохнула.

— Да?.. и вашъ мужъ тоже хворалъ? — спросилъ я.

— Да... да... хворалъ, сердечный!.. И Гришу-то онъ же около себя на заводѣ обучилъ.—Старушка еще разъ вздохнула и добавила: — Самъ-то вотъ умеръ, а меня оставилъ маяться... Лѣтъ десять, али больше, совсѣмъ глухой былъ, а въ послѣднее время такъ и совсѣмъ ничего не слышалъ. Умираетъ это онъ, а я стою вотъ такъ-то, у кровати.— Старуха повела рукою въ сторону. — Спрашиваю его: родной, молъ, какой завѣтъ передъ смертью то будетъ? Что, молъ, прикажешь сыну-то, какое, молъ, ему дашь благословеніе?.. Такъ ничего и не услышалъ, что ни спрашивала. Прошепталъ что-то этакъ... голову-то откинулъ, да и духъ вонъ!..

Старушка смолкла, опустивъ голову и уставившись въ полъ грустными глазами... Въ комнатѣ было тихо, за перегородкой попрежнему плакалъ ребенокъ, слышалась грустная колыбельная пѣсня. «Глухарь» поднялся со стула, прошелъ по діагонали комнаты къ кровати, безшумно ступая ногами, обутыми въ чулки, обернулся и посмотрѣлъ на меня задумчивыми глазами. Послѣ этого онъ закурилъ папиросу, подошелъ къ столу, оперся руками на спинку стула и громко сказалъ:

— Вотъ теперь и меня пропишите!

Я задавалъ ему обычные вопросы, а онъ отвѣчалъ. Почти каждый вопросъ приходилось повторять по два раза. Я никакъ не могъ взять такого тона, чтобы рѣчь моя была слышна; нѣсколько разъ и «Глухарь» переспрашивалъ меня. Вдругъ онъ приложилъ руки къ вискамъ и прошепталъ:

— Наклоняться-то нельзя... чуть-что — кровь хлынетъ къ головѣ, и бѣда... круги, круги въ глазахъ-то...

Онъ опустился на стулъ и закинулъ назадъ голову. Я смотрѣлъ на его, теперь побагровѣвшее лицо, сощуренные, лихорадочно блестѣвшіе глаза, и молчалъ.

Когда «Глухарь» былъ опрошенъ, я обратился къ старушкѣ съ вопросомъ— дома ли кузнецъ, листочекъ котораго мнѣ еще не удалось заполнить.

— Опоздали, на работѣ онъ... жена-то вотъ его, дочь моя,—та дома.

Она вышла, отворила дверку въ перегородкѣ и назвала имя жены кузнеца, прося ее выйти и разсказать, что слѣдуетъ. Та не сразу согласилась на это, но, однако, вышла, держа на рукахъ завернутаго въ одѣяльце ребенка, который тихо и жалобно хныкалъ. Двадцатипятилѣтняя молодая женщина, съ блѣднымъ худощавымъ лицомъ, голубыми глазами, немного ввалившимися и грустными,—стояла передо мною и съ какимъ-то смущеніемъ отвѣчала на мои вопросы.

Я записалъ все, что касалось ея, заполнилъ листокъ, предназначенный для ея мужа, и предложилъ вопросъ о ребенкѣ.

— Его-то развѣ тоже запишите?—спросила она.

— Да, да, непремѣнно,—отвѣчалъ я, стараясь тономъ своего голоса успокоить мать, заслыша въ ея голосѣ плохо скрытую и непонятную мнѣ тревогу.

— Ну, ужъ... что ужъ!.. для чего, махонькаго-то?—забезпокоилась мать.

— Ужъ и не знаю, что вы! что его и записывать-то!—вставила неожиданно и старушка, убиравшая со стола остатки ужина.

Я принялся убѣждать молодую женщину, что, согласно инструкціи, я долженъ записать и ея сына, несмотря на то, что ему всего третья недѣля. Она смущенно смотрѣла на меня и молчала.

— Что ужъ это! крошка этакій, чуть на бѣлый свѣтъ глянулъ, а его записывать! — продолжала ворчать старушка, вновь появившаяся изъ кухни.

Ей пришлось повторить то-же самое, что уже выслушала отъ меня молодая женщина. «Глухарь» все время стоялъ покойно у стола и молчалъ.

— И что вы, баринъ, выдумываете?.. Не крещенъ онъ!—продолжала свои нападенія старушка.

— Ну, что ужъ это, маменька, нужно, такъ какъ же?—совсѣмъ неожиданно для меня осадила старушку молодая женщина.

— Нужно!.. Нужно!..—передразнила ее первая.— Посмотри вотъ, не выживетъ твое дитятко! У мальчика еще имячка нѣтъ, ангела хранителя у него нѣтъ, а они записывать...

Продолжая ворчать, она дошла до двери, обернулась и, грозя рукою дочери, добавила:

—У Филатовыхъ-то вотъ тоже записали младенчика, а онъ къ утру душу Богу отдалъ... осквернили душу-то, грѣховодники...

Я вышелъ изъ квартиры «трехъ поколѣній». Безлюдная, узенькая темная улица рабочаго квартала показалась мнѣ непривѣтливой, словно она еще больше сузилась и потемнѣла. По сторонамъ стояли дома съ освѣщенными окнами. Я зналъ, что дѣлается въ большинствѣ рабочихъ квартиръ въ этотъ часъ вечера; мнѣ представлялась даже

обстановка ихъ, убогая, тусклая, неприглядная; мнѣ припомнились встрѣчи, разговоры, жалобы на жизнь... Вдругъ, почему-то, припомнилась мнѣ старушка, защищавшая ребенка отъ моихъ грѣховныхъ намѣреній записать его душу, еще не осѣняемую ангеломъ-хранителемъ; припомнилось ея морщинистое старческое лицо, узкія плечи, сгорбленная спина... Когда она вспоминала о покойномъ мужѣ и разсказывала мнѣ о томъ, какъ умиралъ онъ— ея глаза свѣтились слезами; когда я записывалъ малютку—она сердилась, и въ глазахъ ея сверкала злоба... Бѣдная, безсильная свидѣтельница «трехъ поколѣній»! Она не сумѣла уберечь мужа отъ глухоты и не спасла его отъ смерти, онъ даже не высказалъ ей своего завѣта!.. Онъ завѣщалъ сыну глухоту, а внуку... Онъ выростетъ, около отца обучится ремеслу, женится, наплодитъ дѣтей... Старушка умретъ, отдастъ Богу душу ея сынъ Гриша— «глухарь» — и новое поколѣніе будетъ калечить себя, ломать руки и ноги, терять зрѣніе и слухъ, и, въ свою очередь, уступитъ мѣсто новымъ людямъ — и такъ долго-долго будетъ совершаться эта *необходимая смѣна*...

Вотъ уже есть представитель этой *смѣны* — сынъ кузнеца... Старушка глубоко вѣритъ, что если я запишу малютку наравнѣ съ взрослыми, стало быть, подготовлю невинному младенцу неминуемую гибель... Мнѣ даже и самому стало казаться, что всѣ эти дни переписи я заношу въ списки имена какихъ-то погибшихъ людей, что всѣ они занесены въ книгу несчастій, а ихъ жизнь, изложенная въ краткихъ отвѣтахъ на тысячи листовъ—недописанная и трогательная поэма.

---

3. Въ неотопленной квартирѣ.

Мнѣ предстояло совершить перепись жильцовъ одной очень странной квартиры. Въ продолженіи четырехъ дней работы я нѣсколько разъ подходилъ къ запертой двери, стучался въ нее, заглядывалъ въ окно, выходившее на крытую галлерею, въ надеждѣ увидѣть кого-нибудь, кто отворилъ бы мнѣ дверь, но мои попытки были тщетны. Дворникъ увѣрялъ меня, что въ квартирѣ есть люди, и даже нѣсколько разъ предлагалъ мнѣ свои углуги *достучаться*, но я отклонялъ его предложеніе, стараясь собственными усиліями добиться успѣха. Я только спросилъ дворника—кто обитаетъ въ этой таинственной квартирѣ, на что онъ коротко отвѣтилъ:

— Такъ... разные... хозяинъ высылать ихъ хочетъ...

Утромъ 14-го декабря моя попытка увѣнчалась успѣхомъ. Я постучался въ знакомую дверь разъ, другой,—на мой стукъ никто не отозвался; я заглянулъ въ окно и послѣ нѣкотораго усилія разсмотрѣлъ за тусклымъ стекломъ сѣдую голову женщины, старческое желтое лицо и испуганные глаза... Немного спустя дверь отворила мнѣ высокая старушка, въ скромномъ темномъ платьѣ и съ темно-сѣрымъ платкомъ, наброшеннымъ на плечи. Она попятилась назадъ, пробормотала что-то невнятно и съ недовольнымъ выраженіемъ въ глазахъ громко выкрикнула:

— Нѣтъ ихъ дома!.. Ушли куда-то...

Я спросилъ непривѣтливую старушку—о комъ она говоритъ, и изъ ея отвѣта понялъ, что дома нѣтъ хозяевъ квартиры, а что она, старушка,—жилица.

Я разсказалъ ей о цѣли своего посѣщенія, и

усѣлся къ маленькому столику у окна, приготовившись записывать отвѣты на листкѣ, предназначенномъ для моей собесѣдницы.

— Не видно вамъ тутъ? Туда-бы... въ комнаты, да только, вишь ты, хозяинъ то свою заперъ, а у меня тамъ—дочь больная лежитъ...

Старушка развела руками и усѣлась на кровать. Я просилъ ее не безпокоиться о моихъ удобствахъ и принялся заполнять листокъ. Она охотно отвѣчала на предложенные мною вопросы и только немного замялась, когда я спросилъ ее о занятіяхъ.

— При дочери я... такъ... сама-то ничего не дѣлаю,—тихо отвѣтила она и, поморгавъ глазами, добавила:—Раньше въ прачкахъ была, теперь ужъ стара стала: руки и ноги можжатъ, въ поясницѣ ноетъ...

Старушка съежила плечи, какъ будто по ея тѣлу пробѣжало холодное дыханіе, и принялась кутаться въ платокъ. Въ крошечной кухнѣ, гдѣ мы съ нею бесѣдовали, было холодно; я чувствовалъ, что въ ноги мнѣ дуетъ отъ двери, а мои промерзшія на улицѣ руки нисколько не согрѣлись; посинѣвшія губы старушки вздрагивали, будто она говорила что-то неясно и беззвучно.

— Ваша дочь сильно больна? Можетъ, она отвѣтитъ на мои вопросы?..

— Хвораетъ, милый баринъ, шибко хвораетъ... третью недѣлю съ постели не встаетъ.

Я сталъ заполнять листокъ дочери старушки со словъ послѣдней. При вопросѣ о годахъ — она поднялась, подошла къ двери въ сосѣднюю комнату и пріотворила ее.

— Саня! Саня!.. — нѣсколько разъ произнесла она, но на ея зовъ никто не отозвался. Я просилъ мать не безпокоить дочери, но это было уже поздно.

Въ сосѣдней комнатѣ, откуда теперь падала на полъ кухни полоска свѣта, послышался вздохъ глубокій, звучный, потомъ я услышалъ слабый, протяжный стонъ...

— Вонъ баринъ спрашиваетъ — сколько тебѣ лѣтъ?..

— Девятнадцатый, — послѣ небольшой паузы послышался отвѣтъ.

— Старушка заняла прежнее мѣсто у стола, а я продолжалъ писать...

Я услышалъ сдавленныя тяжелыя рыданія и поднялъ глаза: лицо старушки было сморщено, съ страдальческимъ выраженіемъ на дрожащихъ губахъ, изъ глазъ лились слезы... Я молчалъ, перелистывая листочки, чтобы хоть этимъ отвлечь свое вниманіе отъ плачущей, и слышалъ тихія и робкія рыданія. Мнѣ хотѣлось встать, уйти и не слышать этихъ странныхъ слезъ, такъ неожиданно прорвавшихся и разоблачившихъ передо мною, можетъ быть, долго скрываемыя страданія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, мнѣ хотѣлось остаться и разгадать тайну чужого горя.

Плачущая нѣсколько оправилась, вытерла платкомъ глаза и надтреснувшимъ голосомъ сквозь слезы проговорила:

— Богъ, вѣрно, наказываетъ... согрѣшили мы, третій день вотъ въ холодѣ живемъ... Хозяинъ ушелъ куда-то и жену увелъ... дровъ нѣтъ... денегъ тоже ни копеечки...

Старушка всхлипнула, вздохнула и снова продолжала:

— Дочка тоже захворала, въ больницу бы свезти, да гдѣ тамъ!.. Не хочетъ, все говоритъ: «Пройдетъ, мамонька, отлежусь»...

Старушка снова всплакнула: голова ея тряслась

какъ-то безпомощно, сѣдые волосы растрепались, прилипая къ щекамъ, орошеннымъ слезами...

— За грѣхи наши тяжкіе Господь разгнѣвался... Неправедными путями живемъ мы, душеньки-то окаянному продали—и терпимъ горе, сидимъ вотъ тутъ холодныя и голодныя... Раньше вонъ и дочка моя въ горничныхъ была, и у хорошихъ господъ... Подвернулся тутъ ей хлыщъ одинъ, «парикмахтеръ» онъ,—и слюбились они... Сманилъ дочку-то мою съ мѣста, комнатку вотъ эту нанялъ, меня тоже, старуху, вотъ въ эвтомъ уголкѣ пристроилъ — и ничего, зажили-было мы тутъ... Грѣшно все это, нечистое, да что тутъ, куда денешься?.. Думала я, грѣховодница, молъ, люди и такъ живутъ, не вѣнчанные—и сыты бываютъ и обуты... А вотъ и вышло,—Богъ-то увидѣлъ и наказалъ: простудилась дочка-то моя и прихворнула... Пришелъ... *онъ-то*... посмотрѣлъ, лѣкарства принесъ, а дѣло-то не поправилось... Еще разокъ побывалъ, видитъ—плохо дѣло, не поправится... Саня-то... ну, и слѣдъ простылъ!.. Съ тѣхъ поръ вотъ двѣ недѣли, и глазомъ не видѣли.

Старушка вздохнула, подперевъ рукою подбородокъ, и уставилась глазами куда-то въ темный уголокъ комнаты.

За входной дверью, на галлереѣ, послышались шаги людей, мимо окна мелькнули двѣ темныя фигуры, дверь въ кухню растворилась, и на порогѣ появилась женщина въ короткой кофточкѣ, въ темномъ кашемировомъ платкѣ на головѣ и съ раскраснѣвшимся отъ мороза лицомъ. За нею слѣдомъ вошелъ высокій брюнетъ, съ легкой просѣдью въ волосахъ и съ безпокойнымъ выраженіемъ въ глазахъ. Вошедшіе словно сговорились,—осмотрѣли меня внимательнымъ взоромъ, молча прошли въ комнату направо и, немного притво-

ривъ за собою дверь, о чемъ-то негромко заговорили...

Минуту спустя мужчина вышелъ въ кухню, потирая одну въ другой раскраснѣвшіяся отъ холода руки, продолжая пытливо разсматривать и меня, и листочки, разложенные по столу.

— Это, вѣрно, насчетъ переписи?—спросилъ онъ и, заложивъ руки въ карманъ новенькаго пиджака, остановился около меня шагахъ въ трехъ, слегка разставивъ ноги въ сѣрыхъ, широко сшитыхъ панталонахъ.

Я отвѣчалъ утвердительно.

— А мы съ Саней думали — куда, молъ, это вы запропастились? — начала старушка, немного недружелюбно смотря въ лицо квартирохозяина.

— Э-эхъ, бабушка! не горюй!—дѣло наше выгорѣло... наплевать и на заводъ... Въ швейцары опредѣлился на Гороховой, — громко и съ самодовольной усмѣшкой на лицѣ оборвалъ ее будущій швейцаръ.

— Ваше-то дѣло можетъ и хорошо, а вотъ мы тутъ... въ холодѣ-то! — продолжала старуха, уже опустивъ глаза.

— Что жъ подѣлать, не моя вина!.. Сама знаешь,—цѣлый мѣсяцъ безъ дѣла хожу...

Урезонивъ такимъ замѣчаніемъ негодующую старуху, господинъ въ сѣрыхъ панталонахъ приблизился ко мнѣ и назвалъ себя по имени и фамиліи. Я записалъ сказанное и началъ задавать слѣдующіе по порядку вопросы, на что получалъ довольно пространные отвѣты, изъ которыхъ подчасъ съ трудомъ приходилось выбирать краткое, необходимое и соотвѣтственное заданному вопросу.

Собесѣдникъ мой точно сообщилъ мнѣ, гдѣ родился, до названія деревни включительно, упомянулъ также, что на родинѣ отецъ его имѣетъ мель-

ницу, а что онъ самъ служилъ въ кавалергардскомъ полку, выучился читать и писать, и послѣ службы остался въ столицѣ, былъ даже старшимъ дворникомъ, а потомъ его знакомые сманили на заводъ въ разсыльные при конторѣ. Мѣсяцъ тому назадъ онъ «наплевалъ» на заводскую контору и опредѣлился швейцаромъ.

Пока я заполнялъ листочки квартирохозяина и его жены, старушка сидѣла молча, изрѣдка вздыхая и осматриваясь печальнымъ и безнадежнымъ взоромъ.

— А вотъ мы завтра уѣдемъ! — воскликнулъ, обращаясь ко мнѣ, будущій швейцаръ:—какъ же вы насъ пропишете-то?

— Ночевать вы будете здѣсь?..

— А то какъ же...

— Господи Іисусе!.. завтра уѣдете?.. а мы то какъ-же?.. побойтесь Господа-то Бога!..—вдругъ завопила старушка, привставъ съ кровати съ поблѣднѣвшимъ лицомъ.

Квартирохозяинъ пожалъ плечами и равнодушно посмотрѣлъ въ лицо старухи. Я всталъ, собралъ въ портфель листочки, собираясь уходить...

— Господи!.. да какъ же это!.. а мы-то?.. мы-то куда-же?..

Старуха зарыдала неутѣшно горько...

— А что же мы тутъ, васъ караулить будемъ?..—громко воскликнула квартирная хозяйка, наступая на плачущую старуху: —ему мѣсто вышло... завтра господа приказали переѣзжать!..

Я вышелъ. За притворенной дверью слышались рыданія старушки и густой повышенный голосъ будущаго швейцара.

---

4. Въ дешевомъ трактирѣ.

Часа въ четыре слѣдующаго дня я закончилъ свою работу, обобралъ въ квартирахъ своего участка пакеты со счетными листками, наполнилъ ими громадный неуклюжій портфель и вышелъ на улицу. Наступали сумерки. Широкій проспектъ, обыкновенно пустынный въ этотъ часъ дня, былъ положительно неузнаваемъ. По панелямъ и посреди мостовой сновали рабочіе, ихъ жены, подростки и даже дѣти. То и дѣло встрѣчали и перегоняли меня люди съ узелками въ рукахъ, съ мѣшечками и пакетами. Около лавокъ и магазиновъ сновала толпа, а предпріимчивые продавцы, предвидя наплывъ покупателя послѣ субботней получки, вынесли свои товары наружу, шумѣли и лукаво улыбались. Въ окнахъ магазиновъ засвѣтились огни. Шумными и многолюдными показались мнѣ пивныя и трактиры, мимо которыхъ пришлось проходить, веселыми и довольными выглядѣли и люди, начинавшіе воскресный отдыхъ въ этихъ своеобразныхъ рабочихъ клубахъ.

Шесть дней тяжелаго, упорнаго труда на заводахъ и на фабрикахъ, среди грохота машинъ, гдѣ слабо слышна человѣческая рѣчь, среди пламени печей и искръ раскаленнаго металла, когда кожа сохнетъ и пересохшая глотка напоминаетъ о жаждѣ; послѣ такого труда, когда люди какими-то незримыми цѣпями прикованы къ машинамъ, къ молоту и наковальнѣ и къ бессемеровской печи,—послѣ этого каждому захочется общенія!.. Угадывая эту общечеловѣческую потребность, многочисленные предприниматели раскинули въ рабочемъ кварталѣ сѣть дешевыхъ пивныхъ и трактировъ, съ тѣсными и вонючими конурками, которыми, однако, не гнушается сѣрый трудящійся

людъ. Я проходилъ мимо одного изъ такихъ трактировъ и мнѣ захотѣлось посмотрѣть, что дѣлается тамъ теперь, въ этотъ часъ отдыха. Я раскрылъ дверь въ «чайную и столовую». Меня встрѣтилъ невысокій мужчина съ бритымъ подбородкомъ, большими усами и съ широко раскрытыми отъ удивленія глазами.

— Пожалуйте туда, на «чистую»,—пригласилъ онъ меня, указывая на раскрытую дверь. Я повиновался и, сдѣлавъ шага три, очутился на чистой половинѣ. Къ моему удовольствію, за столомъ, стоявшимъ у самой двери, сидѣлъ одинокій посѣтитель, и я усѣлся рядомъ съ нимъ. Ко мнѣ подошелъ юный трактирный слуга.

Обѣ половины трактира были полны посѣтителями. У каждаго стола сидѣли по двое, по трое и цѣлыми партіями; одни обѣдали, другіе пили чай, третьи начали, очевидно, съ пива, а можетъ быть, заканчивали этимъ. Въ обѣихъ комнатахъ тускло горѣли лампы, носились клубы табачнаго дыма, слышался несмолкаемый безпорядочный говоръ; изъ-за двери въ сосѣднюю комнату доносились звуки машины.

Мужчина, сидѣвшій со мною за однимъ столомъ, съ темной копной волосъ на головѣ, съ смуглымъ лицомъ и руками и со сверкающими бѣлками глазъ—показался мнѣ угрюмымъ. Передъ нимъ стояла наполовину опорожненная бутылка пива, стаканъ и пачка папиросъ. Затягиваясь и выпуская изо рта табачный дымъ, онъ внимательно слѣдилъ за его сѣрыми клубами, потомъ опускалъ голову, отхлебывалъ глотокъ пива, снова затягивался папиросой и снова слѣдилъ за дымомъ внимательнымъ взоромъ угрюмыхъ глазъ. Онъ только разъ небрежно посмотрѣлъ на меня, окинулъ глазами мой казенный портфель, а потомъ

какъ будто и не замѣчалъ моего сосѣдства. Такъ часто дѣлаютъ люди, когда они одиноки, или когда привяжется какая-нибудь невеселая дума и давитъ усталую, отяжелѣвшую голову. Какая-то тревожная дума, видимо, безпокоила и моего сосѣда.

— Заморились, вѣрно, бѣгаючи-то,—замѣтилъ слуга, подавая мнѣ пиво.

Къ нему подошелъ высокій плечистый мужчина въ потертомъ пиджакѣ, изъ-подъ фалдъ котораго виднѣлась кумачная рубаха, и въ заплатанныхъ штанахъ, запущенныхъ въ громадные сапоги. Голова этого человѣка какъ-то безпомощно свѣшивалась на грудь, на лицѣ выражалось какое-то томленіе. Наклонившись къ уху официанта, онъ что-то тихо проговорилъ хриплымъ голосомъ, какимъ говорятъ люди съ простуженнымъ горломъ.

— Да ну тебя!.. чего ты?.. Ступай лучше отсюда. Что я тебѣ за кладъ такой дался!—огрызнулся на него официантъ и скрылся въ толпѣ посѣтителей.

Человѣкъ съ хриплымъ голосомъ отшатнулся, какъ-то безнадежно посмотрѣлъ въ сторону скрывшагося паренька и осоловѣвшими глазами повелъ по комнатѣ. Наконецъ, внимательный взглядъ его остановился на мнѣ. Онъ пристально осмотрѣлъ меня съ головы до пятъ, покосился на мой портфель и, немного покачиваясь, прошелъ на «грязную» половину. Я видѣлъ, какъ онъ подошелъ къ буфетчику за стойкой, говоря послѣднему что-то и указывая рукою чрезъ плечо, отогнувъ отъ ладони большой палецъ. Послѣ этого онъ прислонился къ прилавку, обвелъ глазами комнату и уставился на меня насмѣшливымъ взоромъ.

Мой мрачный сосѣдъ подозвалъ слугу и попросилъ вторую бутылку пива. Въ это время че-

ловѣкъ съ хриплымъ голосомъ проходилъ мимо меня, всматриваясь куда-то въ глубь комнаты.

— Филатъ! Эй, Филатъ! чего ты тутъ слоняешься? Иди сюда... выпьемъ!—громко выкрикнулъ мой сосѣдъ.

Человѣкъ съ хриплымъ голосомъ остановился, какъ-то странно осмотрѣлся, какъ-бы задаваясь вопросомъ — откуда слышится сей таинственный голосъ.

— А — а! Кузьма Иванычъ! другъ сердешный!.. Разрѣшилъ?.. — и онъ многозначительно указалъ на бутылку.

— Разрѣшилъ, братъ,—отвѣчалъ Кузьма Ивановичъ.

Друзья подали другъ другу руки. Филатъ опустился на стулъ, не выпуская изъ своей громадной ладони руки Кузьмы Ивановича. Минуту спустя оба они пили пиво и бесѣдовали.

— А я все хотѣлъ къ тебѣ зайти! Слышалъ, что ты того... съ завода-то... разсчитанъ?..

— Да... сократили у насъ, на бессемеровскихъ-то,—проговорилъ Кузьма Ивановичъ и посмотрѣлъ на меня печальными глазами.

— Што они... черти?

— Што-о? Лѣшій ихъ побери! — и онъ безнадежно махнулъ рукою.

Разговоръ оборвался. Оба жадно пили пиво и молча разсматривали другъ друга.

— Вотъ тоже меня тогда, подлецы, вышвырнули! — началъ, прервавъ молчаніе, Филатъ:—три года работалъ, а тутъ вдругъ, «пшолъ!»..

Филатъ энергично махнулъ въ сторону рукою и, повернувъ лицо ко мнѣ, нѣсколько разъ повторилъ: «Пшолъ! пшолъ!»

— Тебѣ что, ты одинъ, а вотъ у меня пять душъ, такъ, небось — подумать надо, какъ быть!

Праздники вотъ на дворѣ, а въ карманѣ-то—шишъ! Да што! Плевать на все! Пей, Филатъ!—и, приподнявъ стаканъ съ пивомъ, онъ прикоснулся краемъ его къ стакану товарища и крикнулъ:

— Эй, молодецъ! Еще пива дай парочку!

Филатъ ближе придвинулся къ столу, закурилъ папиросу и, не отрываясь отъ стакана, опорожнилъ его. Они заговорили о чемъ-то вполголоса.

Я разсматривалъ этихъ незнакомыхъ мнѣ людей, безъ стѣсненія разоблачающихъ передо мной странички изъ свой интимной жизни, и мнѣ захотѣлось подавить какое-то тяжелое настроеніе въ собственной душѣ. Все было ясно въ жизни этихъ людей, разсказанной въ немногихъ словахъ. Вотъ опорожнится эта пара только-что принесенныхъ бутылокъ, потребуется еще, языки развяжутся, и я узнаю многое, до сихъ поръ скрытое и отъ меня, и отъ другихъ. Но мнѣ не хотѣлось дожидаться этого момента, мнѣ вдругъ какъ-то стыдно стало быть непрошеннымъ свидѣтелемъ и больно за этихъ людей, ищущихъ забвенія на днѣ бутылки. Когда-то и Филатъ, вѣроятно, такъ-же, какъ и Кузьма Ивановичъ, получивъ въ заводской конторѣ расчетъ, «разрѣшилъ» себѣ гдѣ-нибудь въ такомъ-же дешевомъ трактирѣ, а можетъ быть, въ этихъ-же мрачныхъ и душныхъ комнатахъ—и никакъ не можетъ остановиться послѣ разъ уже сдѣланной поблажки душѣ, ищущей забвенія отъ тревогъ и неудачъ жизни. Рубище, въ которое онъ одѣтъ, красная опухшая физіономія, лихорадочные глаза—все это такъ краснорѣчиво! Я посмотрѣлъ въ лицо Кузьмы Ивановича и встрѣтилъ его жестокій и холодный взоръ. Я хотѣлъ было расплатиться и уйти, но меня остановилъ хриплый голосъ Филата. Повернувъ лицо въ мою сторону и скосивъ на меня глаза, онъ говорилъ:

— А вотъ вы, баринъ, въ переписчикахъ! А поди-ка, этого не прописываете... вотъ... какъ бы, примѣрно, съ Кузьмой Ивановичемъ приключилось... Расчетъ-то ему дали, а ребятъ-то у него пять человѣкъ...

— Полно тебѣ молоть-то! это не по ихней части! — остановилъ Филата Кузьма Ивановичъ, замѣтно смутившись и подливая въ стаканъ пріятеля пиво: — Не слушайте его, господинъ, такъ онъ это, спьяна,—обратился онъ уже ко мнѣ.

— Нѣтъ, ты постой, Кузьма Ивановичъ! Что спьяна-то я, такъ это вѣрно, а...

— Ну, чего тамъ «а-а»... Пей, вотъ и все... къ другимъ не приставай,—продолжалъ собутыльникъ Филата, насмѣшливо смотрѣвшаго на меня.

— Нѣтъ, ты постой! Развѣ я зря говорю? Примѣрно, человѣкъ рабочій расчетъ получилъ, и расчетъ этотъ получилъ не по своей винѣ... Ты виноватъ развѣ, что тамъ они, заводчики-то, работу сократили, я виноватъ былъ, когда вотъ такъ-же: «Пшолъ?» А? другой, третій... что, мы виноваты?

— Ну, не виноваты! Ну, такъ что-же изъ этого? — громко воскликнулъ Кузьма Ивановичъ.

— Долженъ-же кто-нибудь о рабочемъ человѣкѣ подумать? А?

— Каждый самъ о себѣ думай.

Кузьма Ивановичъ удивительно покойно произнесъ свое замѣчаніе и отвернулся.

— Самъ о себѣ!... Что вотъ я могъ сдѣлать? Туда-сюда сунулся,—вездѣ полно, нашихъ-то. Ты вотъ куда теперь пойдешь?

— Ну, что-жъ; ты думаешь, не пойду? И пойду! Божій міръ не клиномъ сошелся.

— «Не кли-иномъ»—передразнилъ Кузьму Ивановича Филатъ:—по мнѣ, такъ вотъ еще какимъ клиномъ-то!

Филатъ отвернулъ отъ меня лицо и, закуривъ потухшую папиросу, смолкъ. Оба пріятеля, очевидно, о чемъ-то думали; ихъ лица мнѣ не были видны.

— А вотъ меня, баринъ, никто въ листочекъ-то не записалъ! Ни-кто!

Филатъ снова повернулъ ко мнѣ лицо и съ язвительной усмѣшкой въ глазахъ спросилъ:

— А? Что вы на это скажете?

Я отрицательно помоталъ головой.

— Да будетъ тебѣ приставать-то! Будетъ! Пей! — снова огрызнулся на моего сосѣда Кузьма Ивановичъ, наполняя пивомъ его стаканъ, словно желая этимъ отвлечь отъ меня вниманіе своего нетактичнаго пріятеля.

— Да чего будетъ-то? Ты постой! Я на дворѣ нонѣ ночь-то ночевалъ! Ну? Изъ-за нихъ вотъ въ ночлежку-то насъ, этакихъ-то, не пустили. Голосъ-то вотъ за одну ночь потерялъ, вишь, какъ хриплю...

Немного помолчавъ, Филатъ снова началъ:

— Да... и не прописали... потому, по нашимъ-то квартирамъ... тамъ... фью-ить! (онъ махнулъ рукою куда-то въ пространство) никто не ходилъ, да не переписывалъ, потому, какъ мы, значитъ, не состоимъ по домашнему-то... Да... вотъ какъ!

Онъ смолкъ и, какъ человѣкъ, отыскавшій источникъ въ жаркій лѣтній день, жадно припалъ къ стакану съ пивомъ.

— Да... будто мы на собачьемъ положеніи... за городомъ...—ворчалъ онъ хриплымъ голосомъ.

Я наскоро расплатился и направился къ двери.

— Они вотъ тутъ, чиновники-то, описываютъ, а мы тамъ... будто...

Я такъ и не разслышалъ конца рѣчи Филата: дверь за мною захлопнулась, и я очутился на

улицѣ. По панелямъ сновали люди. По сторонамъ проспекта въ фонаряхъ мерцали керосиновыя лампы съ дрожащимъ, тусклымъ пламенемъ. Громыхая, катилась конка, унося къ Путиловскому заводу возвращавшихся изъ города обитателей загородныхъ кварталовъ. Дулъ холодный, пронизывающій вѣтеръ, протяжнымъ свистомъ отзываясь въ телефонныхъ и телеграфныхъ проволокахъ, потонувшихъ въ темномъ небѣ.

Я дошелъ до Нарвскихъ воротъ, миновалъ ихъ темную арку, сѣлъ на извозчика и долго смотрѣлъ на эти мрачныя, громадныя ворота, высившіяся на рубежѣ двухъ міровъ и открывавшія путь въ загородные рабочіе кварталы.

О СЧАСТЬѢ.

(Изъ пасхальныхъ встрѣчъ)

Послѣдняя недѣля великаго поста на исходѣ. Скоро наступитъ свѣтлый веселый праздникъ весны—и снова въ душѣ моей проснется знакомая, безотчетная и непонятная тоска. Отчего это, когда другимъ весело,—мнѣ скучно? Отчего это, когда другіе мнѣ кажутся счастливыми,—на душѣ становится еще тоскливѣй?.. Именно, кажутся счастливыми... Люди, ближніе мои, мнѣ кажутся счастливыми, а я не вѣрю въ ихъ счастье, и отъ того, быть можетъ, такъ не весело и живется...

Два дня я брожу по улицамъ Петербурга и присматриваюсь къ кажущемуся счастью другихъ. Я нарочно выбираю многолюдныя и шумныя улицы, чтобы больше встрѣтить кажуще счастливыхъ и довольныхъ людей и, присматриваясь къ ихъ лицамъ, и прислушиваясь къ ихъ говору, начинаю убѣждаться, что они дѣйствительно счастливы, что ихъ счастье — не призракъ... Счастливымъ становлюсь и я...

Всѣ они куда то торопятся, шумно и толпой двигаясь по широкимъ панелямъ Невскаго, спѣша на извозчикахъ или въ собственныхъ экипажахъ—и я незамѣтно для себя начинаю прибавлять шагу. Люди переполняютъ многочисленные блестящіе

магазины, длинной гирляндой тѣснятся на галлереѣ гостиннаго двора, и я начинаю протискиваться вмѣстѣ съ ними въ двери какого то магазина, потомъ быстро соображаю, что въ моихъ дѣйствіяхъ нѣтъ цѣлесообразности, и возвращаюсь на галлерею. Они спѣшатъ запастись на праздники нарядами, и меня начинаетъ заботить вопросъ, что бы такое купить, чѣмъ бы можно было достойно отмѣтить праздникъ?..

Мои знакомые называютъ меня «неврастеникомъ», оттого въ моемъ поведеніи и нѣтъ строгой планомѣрности и устойчивости...

— Купите «счастье»... «Счастье» купите... барыня хорошая... «Счастье» три копѣечки всего, — выкрикиваютъ въ толпѣ чумазые и оборванные мальчуганы, назойливо приставая къ прохожимъ и предлагая купить какіе то небольшіе конвертики.

Минута колебанія — и я хотѣлъ было купить конвертикъ съ «счастьемъ», потомъ вспомнилъ, что я—неврастеникъ, и спросилъ себя мысленно: зачѣмъ?..

Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ покупать «счастье», если и я, и толпа, меня окружающая,—мы одинаково «счастливы», и бѣдные мальчуганы, продавцы счастья, вѣроятно, напрасно промокнутъ и прозябнутъ въ туманномъ воздухѣ весенняго ненастнаго дня.

Почему то особенно рѣзко въ памяти моей врѣзался одинъ изъ нихъ: крошечный, узкоплечій, съ узенькими глазками, въ которыхъ, словно прячась отъ взора постороннихъ, отражалась тихая грусть. Онъ жалобнымъ тягучимъ голосомъ молилъ прохожихъ купить его «счастье», и никто не обращалъ на него вниманія, и мнѣ казалось, въ глазахъ его начинали пробиваться слезы, дѣтскія слезы, чистыя, какъ хрусталь...

Я купилъ у него одинъ конвертикъ и, неразрывая его, сунулъ въ карманъ. Мальчуганъ почему то внимательно разсмотрѣлъ мою монету, потомъ поднялъ глаза и съ улыбкой на лицѣ посмотрѣлъ на меня: продавъ мнѣ «счастье», онъ сталъ счастливъ и самъ...

Я медленно пробирался въ толпѣ и всматривался въ лица встрѣчныхъ. Все утомленные и озабоченные лица, а въ глазахъ ожиданіе близкой радости! Навстрѣчу мнѣ шли расфранченныя дамы, ихъ сопровождали кавалеры, военные и штатскіе. Медленно двигались въ толпѣ степенные супруги, съ пакетами и свертками въ рукахъ; около нихъ шли дѣти, нарядные и веселые и, останавливаясь около игрушечныхъ магазиновъ, о чемъ то просили родителей. Встрѣтился сѣдой батюшка, съ безстрастнымъ лицомъ, его перегнали два гимназиста и кадетъ... Въ толпѣ я разсмотрѣлъ странное худощавое, бритое лицо актера, изъ-за него выглянуло молодое цвѣтущее лицо офицера, который все время, пока шелъ, крутилъ свой темный красивый усъ... Повстрѣчался еще священникъ, низенькій, съ моложавымъ лицомъ... Какая то сѣдая дама въ траурѣ, обогнавъ меня, раскланялась съ батюшкой, сдѣлала шага два впередъ, обернулась и громко окрикнула: «Надя!..» «Надюша!..» Изъ толпы къ ней быстро подошла дѣвушка съ курчавыми темно-каштановыми волосами и онѣ обѣ вошли въ какой-то магазинъ. Пыхтя и отдуваясь, прошелъ толстякъ въ цилиндрѣ и съ сигарой во рту. Меня обдало облакомъ ѣдкаго пахучаго дыма... Въ толпѣ мелькнулъ мальчуганъ, продавецъ «счастья», и быстро исчезъ. Откуда-то издалека слышался его тягучій просительный голосъ.

Я вышелъ на Садовую. По панели, мимо гал-

лереи, также сновали люди, вдоль панели стояли извозчики, поджидавшіе сѣдока, другіе, съ сѣдоками, куда то спѣшили. Ихъ обгоняли громоздскія кареты; громыхали тяжелыя, неуклюжія конки съ одинокими сгорбленными фигурами на имперіалѣ... Срединой улицы два мужика въ передникахъ несли бѣлый глазетовый гробъ, поставивъ его на собственныя головы... Какая то миловидная дѣвушка, въ поярковой шляпѣ и съ блестящими глазами, уронила на панель пакетикъ въ свѣтло-розовой бумагѣ, взвизгнула и звонко захохотала. Ея спутникъ, студентъ, поднялъ замазанный грязью пакетикъ и потомъ они почему то долго и весело смѣялись...

Съ туманнаго неба моросилъ мелкій весенній дождь... Въ душѣ у меня снова заныла знакомая, безотчетная и непонятная тоска...

Вечеромъ я снова бродилъ по Невскому, и черныя думы и тоска сопровождали меня въ моемъ одиночествѣ!

Я и самъ не могу понять, почему за послѣдніе дни страстной недѣли и въ продолженіе всей Пасхи мнѣ необыкновенно тоскливо! Я ничемъ не могу объяснить этой страшной тоски! Дни праздника пройдутъ такъ-же, какъ проходили они въ каждый предшествующій годъ. Послѣ двѣнадцати ночи люди будутъ поздравлять другъ друга, цѣлованіемъ скрѣпляя дружбу и братство, а пройдутъ дни праздника—и смѣнившіе ихъ будни породятъ будничныя чувства, будничныя мысли, и злоба, и ненависть станутъ будничными и повседневными; сдѣлаются и люди будничными, скучными, злыми... Стоитъ ли быть кажуще справедливымъ на нѣсколько мгновеній въ продолженіи одного дня или

даже цѣлой недѣли, о которыхъ напоминаетъ предупредительный календарь?..

Я задавался этими странными вопросами, бродя по улицѣ, и тоска снова охватила мою наболѣвшую душу...

Улицы опустѣли! Готовясь къ встрѣчѣ свѣтлаго праздника, люди разбрелись по своимъ обиталищамъ, и одиноко бродя по панелямъ, я говорилъ себѣ: я—счастливъ... счастливъ, потому что одинокъ...

Я прошелъ Невскимъ до Знаменской церкви, постоялъ у церковной паперти, вмѣстѣ съ другими любопытствующими посмотрѣлъ сквозь чугунную рѣшетку на длинные столы, рядами разставленные въ оградѣ; на столахъ богомольные прихожане устанавливали куличи и пасхи, приготовленные для освященія и, громко разсуждая, спорили о мѣстахъ, тѣснились и перебранивались...

Въ сыромъ воздухѣ пронеслись странные тягучіе звуки рожка. Блестя мѣдной каской, по Лиговкѣ пронесся верховой пожарный, секунду спустя по мостовой загромыхали массивныя колеса пожарнаго обоза, передъ глазами пронеслись блестящія каски на головахъ людей, и нестройный перезвонъ пожарныхъ колоколовъ смѣшался съ гуломъ толпы и грохотомъ экипажей...

Эти обычные будничные звуки разсѣяли мое предпраздничное настроеніе, напоминая о пожарѣ, о суетѣ людей, спасающихъ свое имущество; мнѣ представились ихъ испуганныя лица, мольбы, крики, брань и слезы!,.. Какъ быстро чередуются явленія жизни, — вторя имъ, мѣняются мысли и настроенія!..

Зала третьяго класса Николаевскаго вокзала, куда я вошелъ, была переполнена публикою. Все

«сѣрыя простыя» лица... пиджаки, короткія кофточки, картузы, платки, чуйки, котомки, сундучки... И только кое-гдѣ жмется въ толпѣ горожанинъ, словно боясь смѣшаться съ «сѣрой» публикой. Но толпа не замѣчаетъ осторожнаго горожанина, свободно, какъ дома, размѣстилась она на скамьяхъ и прямо на полу и шумитъ и гогочетъ въ какой-то изступленной радости передъ разлукой съ туманнымъ Петербургомъ.

Четыре или пять мѣсяцевъ эта толпа жила жизнью столицы, получая краткія свѣдѣнія съ родины о хозяйствѣ, объ урожаѣ или о... Впрочемъ, развѣ перечесть все, чѣмъ богаты деревенскія корреспонденціи!..

Скоро вся эта толпа вольется въ тѣсные вагоны спеціальнаго рабочаго поѣзда и скоро-же угомонится подъ грохотъ вагоновъ и заснетъ, что-бы проснуться гдѣ нибудь на ближайшей отъ деревни промежуточной станціи или узловой для пересадки на другую дорогу. И каждый изъ этихъ путниковъ везетъ въ свою деревенскую глушь какія нибудь впечатлѣнія столицы, чѣмъ, конечно, подѣлится тамъ, гдѣ жизнь проще и «глуше»; другіе везутъ въ памяти пересказы изъ увидѣннаго и услышаннаго; третьи увлекутся и выдадутъ какую нибудь невинную ложь за истину...

Каждый изъ нихъ, конечно, везетъ съ собою деньженки, потому что вѣдь только ради нихъ всѣ они и пріѣзжали въ столицу, видя въ деньгахъ единственно достижимое счастье... Впрочемъ, это темное дѣло: въ чужомъ карманѣ не сосчитаешь!..

Какое то новое настроеніе овладѣло мною, пока я бродилъ въ этой шумной толпѣ. Я присматривался къ лицамъ и прислушивался къ шумному говору.

— Если бы теперь вотъ вашему брату узду на морду-то, такъ вы не обтрепанными уѣзжали бы домой-то!.. А то посмотришь,—въ которой чуйкѣ онъ стѣны то кирпичныя выкладывалъ, въ той и домой ѣдетъ!—громко разсуждалъ черноусый мѣщанинъ, сидя на лавкѣ и ни къ кому не обращаясь.

— А, можетъ, пиджаки да брюки то навыпускъ у насъ въ сундукахъ!—возражаетъ оратору пассажиръ въ чуйкѣ.

— «Въ сундукѣ», — передразниваетъ его ораторъ.—Въ сундукѣ то, поди, окромя гармоньи ничего нѣтъ!..

— А ты, вѣрно, изъ торговыхъ—узды то этой самой на тебѣ не видно!—вставляетъ новый ораторъ изъ «сѣрыхъ», высокій здоровый дѣтина въ поношенной поддевкѣ и новомъ картузѣ. До этого онъ все время молчалъ и насмѣшливо посматривалъ въ сторону ораторствующаго мѣщанина.

— Мы не изъ торговыхъ, а такой же, какъ и ты, братъ—мастеровой, да только узду то съ насъ, дѣйствительно, сняли давненько... Больше десяти лѣтъ выжилъ въ Питерѣ-то... Съ отцомъ жилъ, такъ и научился, какъ денежки то беречь, а теперь и собственную мастерскую въ Саблинѣ имѣемъ... А вы что?—вольница!.. Деньжонки-то, поди, всѣ тутъ оставили, а домой то ни съ чѣмъ, одни гармоньи, карты да водка!.. Лю-ю-ди!..

Съ презрительной усмѣшкой на лицѣ онъ отворачивается въ сторону и смолкаетъ.

Я иду дальше, присматриваясь и прислушиваясь, и оказывается, что ни группа—то новые разговоры: то перебранка, покойная и не злобная, то шумные и веселые возгласы, то тихая и мирная рѣчь.

Пробираясь въ толпѣ бабъ съ котомками за плечами, я подслушалъ, что и здѣсь, въ этой толпѣ, разсуждаютъ о счастьѣ. Одна старушка, обращаясь къ двумъ своимъ собесѣдницамъ и заканчивая рѣчь, говорила:

— Да... родимыя... Счастье ему выпало! счастье... Да такое, что... Въ швейцарахъ теперь служитъ, двадцать рублей въ мѣсяцъ получаетъ, опять же доходы отъ господъ, а господа добрѣйшей души люди!..

Слушательницы внимали молча и вздыхали.

А мастеровой—моралистъ правъ: у многихъ изъ пассажировъ рабочаго поѣзда гармоники, и если бы не бдительные жандармы, своими окриками подавляющіе въ самомъ крошечномъ зародышѣ желаніе поиграть на гармоникѣ,—въ залѣ, вѣроятно, слышались бы раздирающіе душу звуки. Говоръ, смѣхъ и изрѣдка брань никто не въ силахъ подавить, и чѣмъ больше наполнялось публикою зало третьяго класса, тѣмъ громче становился говоръ... Всѣ были веселы и довольны, всѣ съ минуты на минуту ожидали отхода поѣзда, не замѣчая времени.

Только одинъ изъ «сѣрыхъ» произвелъ на меня удручающее впечатлѣніе. Одиноко сидѣлъ онъ на лавкѣ, недалеко отъ громаднаго кіота, передъ которымъ теплилась восковая свѣча и, облокотившись на собственную котомку, смотрѣлъ въ полъ опущенными глазами.

Не молодой, сгорбленный и худой, ввалившіеся тусклые глаза, впалыя блѣдныя щеки: вотъ его портретъ. На лицѣ печать печали и страданія и что то жалкое, одинокое, всѣми оставленное во всемъ его существѣ. Всѣ заняты собою и «своими», а онъ сидитъ одиноко, тяжело дышетъ и по-временамъ кашляетъ.

Недалеко онъ него на лавкѣ, на сундучкахъ и на котомкахъ размѣщалась группа молодежи. «Маляры»—опредѣлилъ я по ихъ котомкамъ съ слѣдами краски и по ихъ скудному «ручному» багажу. Сомкнувшись тѣснымъ кружкомъ, они весело болтали и смѣялись.

Въ шумной толпѣ маляровъ мое вниманіе остановилъ одинъ парень, высокій, широкоплечій, съ круглымъ веснущатымъ лицомъ и съ узенькими зеленоватыми глазами. Лицо его выражало смущеніе и было залито краской стыда. Окружавшіе его товарищи смѣялись надъ нимъ, иногда зло, и на его лицѣ отражалось неудовольствіе, иногда весело-добродушно—и оно расплывалось отъ улыбки.

— Ничего, Панька, не трусь! Пріѣдешь домой—бабушка Ѳекла тебя излѣчитъ, у нее такая «знатная» трава есть отъ этой болѣзни-то!—говорилъ, обращаясь къ нему, одинъ изъ товарищей. Насмѣшка кривила его губы.

— А ловко онъ изъ больницы то выкарабкался, одному не захотѣлось оставаться! — говорилъ другой, указывая рукою на предметъ общаго вниманія и повернувъ лицо къ улыбавшемуся сосѣду.

— И что врешь! И что врешь!.. Сами отпустили, потому, говорятъ, тебѣ все равно скоро не излѣчиться!—задорно возражаетъ Панька.

— И кралю свою, братъ, оставилъ, —дѣланно-печальнымъ тономъ вставилъ еще кто то изъ группы сидящихъ.

— Подарочекъ то отъ этой крали только при себѣ везешь...

— Въ багажъ не сдалъ! — зло шутитъ кто то.

Маляры громко и весело захохотали, и мнѣ стало ясно, каковъ тотъ «подарочекъ», съ которымъ смущенный юноша вернется въ родную деревушку.

Больной смутился еще больше, догадавшись, что я и еще кое-кто изъ близко стоявшихъ,— мы всѣ слышали и эти краткія замѣчанія съ «крылатыми» словами и этотъ общій хохотъ, полный опредѣленнаго, обидно—горькаго смысла.

Я отошелъ, унося съ собой новое впечатлѣніе. «Подарочекъ» столицы занималъ мои мысли, и мнѣ стало казаться, что и всѣ люди, переполнявшіе этотъ обширный залъ, увозятъ съ собою въ деревню какіе нибудь «подарочки». Можетъ быть то, ради чего они пріѣзжали въ Питеръ, миновало ихъ, а нечаянное и нежеланное присосалось къ плоти и вошло въ кровь. Но за то много новаго, еще не слыханнаго они услышали, много новаго, не виданнаго, посмотрѣли и, вѣроятно, везутъ съ собою новыя столичныя мысли, можетъ быть, даже и новыхъ пѣсенъ наслышались въ средѣ столичнаго рабочаго населенія.

Дверь на платформу открыли, и толпа густой сплошной массой двинулась изъ зала. Говоръ и шумъ усилились. Минутъ черезъ пять поѣздъ отошелъ отъ станціи.

Я вернулся въ залу, теперь пустынную, съ клубами копоти, дыма и чада... Недалеко отъ кіота толпилась кучка людей: вокзальные сторожа, нѣсколько человѣкъ изъ публики и два жандарма. На грязномъ полу лежалъ незнакомецъ, котораго я видѣлъ одиноко сидящимъ около своей котомки. Лицо его было спокойно, словно онъ уснулъ, кисть правой руки почему то была придвинута къ лицу, словно онъ хотѣлъ закрыть глаза передъ лицомъ чего то страшнаго, или хотѣлъ перекреститься, но не успѣлъ.

— Всталъ онъ этакъ, чтобы пойти, какъ и другіе... да... какъ—хрясь объ полъ!—разсказывалъ какой то очевидецъ жандармамъ.

— Ахъ ты, Господи!.. А!.. Остался!..—вздыхая, говорилъ кто-то въ толпѣ, окружавшей умершаго.

«Остался», подумалъ я съ тоской въ душѣ и вышелъ.

Ночь была темная и тихая, и ярко освѣщенная столица гремѣла, готовясь къ встрѣчѣ Свѣтлаго Христова Воскресенія... Гдѣ то чуть слышно посвистывалъ, должно быть, только что отошедшій поѣздъ...

«Остался»—снова подумалъ я, и знакомая тоска сдавила мнѣ душу...